

ЕВГЕНИЙ БУЗНИ

ТРАЕКТОРИИ СПИДА

Книга вторая
ДЖАЛИТА



Евгений Бузни

**Траектории СПИДа.
Книга вторая. Джалита**

«Автор»

2018

Бузни Е. Н.

Траектории СПИДа. Книга вторая. Джалита / Е. Н. Бузни —
«Автор», 2018

"Джалита", вторая книга пенталогии "Траектории СПИДа", является продолжением романа "Настенька". Растерявшаяся от неожиданных ударов жизни девушка находит в себе силы выжить и встать на ноги. Судьба забрасывает Настеньку в Ялту, где она встречается с любовью, с новыми друзьями и с преступностью. Продолжает напоминать о себе СПИД. Но рядом любимый человек, прекрасное море, горы и лес. Между тем в Москве на героиню надвигаются тучи, обрушивается СПИД политической конъюнктуры. Начинаются новые испытания на прочность жителей государства.

© Бузни Е. Н., 2018

© Автор, 2018

ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ КАКОЙ-ТО ГОД

Нет, дорогой мой читатель, очень прошу не думать, что я ошибся и обозначил не тот век в заголовке. Всё правильно, мои прадеды и деды родились в тысяча восемьсот какие-то годы. Прошу простить за то, что не знаю в какие именно. Родословную свою, конечно, следует знать и помнить. Но в моём давнем стихотворении, когда мне ещё не довелось быть очевидцем ползучих революций Горбачёва и Ельцина, у меня появились как-то такие строки о самом себе:

Я родился в тысяча девятьсот...
Впрочем, какое это имеет значение?
Главное, что после тридцатых, а не до.
Не видел я революцию Ленина,
не видел революции других годов.

Вот и относительно одного из моих четырех прадедов я не могу сообщить более точных сведений, кроме тех, что запали в мою память в качестве главных вех формирования нашей семейной особенности характера.

Был этот самый мой прадед Александр Урбан чех, а родился, стало быть, он ближе к середине девятнадцатого века в тогда еще Австрийской империи, которая после знаменитой австро-прусской войны тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, потерпев от союза Пруссии и Италии сокрушительное поражение всего за семь недель, преобразовалась в двуединую Австро-венгерскую монархию, чему немало способствовало венгерское восстание следующего после войны года.

Я это к тому рассказываю, уважаемый листатель страниц моей жизни, чтобы понятны были истоки происходившего. Ведь именно потому, что молодость моего прадеда выпала на столь тревожное для его Родины время, он не мог быть равнодушным к событиям, не мог смириться с тем, что король Австрии заигрывает с Германией, пресмыкается перед нею, унижая достоинство своей собственной страны, что и заставило его писать на стенах домов для всеобщего обозрения горькие слова: "Король австрийский – мышь немецка".

Но если для простого народа эти слова казались горькой правдой, то для правящей верхушки они выглядели революционным призывом к бунту, что могло караться смертной казнью, в случае которой, свершись она над моим прадедом, как бы я писал сегодня эти строки, не родившись по причине не появления моего отца у не родившейся матери, то бишь моей бабушки, которая, само собой не могла родиться у погибшего в расцвете сил моего прадеда?

К счастью так не произошло, но молодой Александр Урбан, инспектор по должности и революционер по духу, вынужден был бежать от преследований в Россию.

Далекий мой революционный прадед не мог и предполагать, что через полтора века, в конце двадцатого столетия, российская держава начнёт сама пресмыкаться перед иными, ранее более слабыми странами, и по этой причине другие люди побегут теперь в разные стороны, чтобы не видеть и не участвовать в этом позоре.

Александр Урбан принял Россию своей второй Родиной, однако, не только не расстался с традиционной чешской специальностью пивовара, но ещё и вздумал жениться на чешке то ли потому, что русские девушки не пришлись по вкусу, то ли потому (и это кажется мне наиболее вероятным), что не хотелось расставаться с родными сердцу обычаями, привычками, чтобы хоть в семейном кругу чувствовать себя, как бывало в родных местах, обратный путь куда был ему заказан.

Вот и написал он письмо в тогдашнюю Австро-Венгрию с приглашением девушке, желающей выйти замуж за эмигранта в России. Письмо его опубликовали в одной из газет, и вскоре в Россию понёсся ответ от такой же рискованной молодой чешки. В конверте с письмом находилась и фотография красавицы, которая пришлась по вкусу Александру. Так что, как и сле-

довало ожидать, завершилась эта романтическая история чешской свадьбой с традиционными кнедликами в России.

Скоро у молодых родились дети – сын, Иван Александрович Урбан, закончивший впоследствии два института, ставший изобретателем и работавший уже при советской власти в министерстве сельского хозяйства, и дочь Анна Александровна Урбан, знаменитая для меня, двух моих братьев и сестры тем, что родила нашего папу и затем стала нашей бабушкой. Впрочем, встретиться с нею нам не довелось.

Вот почему, разлюбезный мой читатель, для меня не то важно, в каком именно году родился на свет мой прадед по материнской линии отца, а то, что явился он сюда на нашу землю в годы, сделавшие его дух революционным, который в завихрениях против глупости забросил его в Россию, что помогло тем самым сделать её и моей Родиной. Вместе с Родиной подарил мне пращур частицу своей крови и, что главное, частицу духа, рождённого тревожными временами.

Менее романтична, но, полагаю, не менее интересна была история прародителей по отцовской линии нашего папы. Второй прадед – Николай был мелкопоместным помещиком. Женившись на польской красавице, возымел троих детей, но дела в поместье шли плохо, и вскоре он совершенно разорился, так что будущего деда Ипполита с детства отдали на воспитание к богатому, хорошо известному помещику Казимиру, у которого подросток воспитанник вскоре стал работать управляющим имения.

Кстати, это обстоятельство могло привести к его преждевременной смерти в период революционных возмездий семнадцатого года. Поместья у помещиков отбирались, а угнетатели по возможности расстреливались. Как и все большие люди, помещик Казимир сумел вовремя скрыться от возмездия, что же касается нашего будущего деда, то он был арестован и, можно сказать, повис на волоске от смерти. Да тут всполошились крестьяне и написали прошение об освобождении бывшего управляющего Бузни Ипполита Николаевича и не по той причине, что у него жена и дети (к тому времени довольно взрослые), а по той, что в период своего управления имением хорошо относился он к крестьянам, не драл их подобно другим управляющим, не забижал их. Такое вот заступничество народа и спасло жизнь нашему деду, которого мы, его внуки, к сожалению, тоже не видели в жизни.

Между тем у деда моего были брат и сестра с совершенно разными направлениями в их политической деятельности. Сестра – Вера Николаевна занималась литературой и была составителем сборника стихов, посвящённых русскому царю Николаю II, тогда как брат Александр Николаевич Бузни выступал против того же царя, за что был сослан в Сибирь и возвратился в Тамбов лишь после Февральской революции, сделавшей его социал-демократом.

Я думаю, дорогой читатель, что какая-то почти сентиментальная любовь к людям вообще у меня частично от деда Ипполита, с любовью относившегося к крестьянам, а его брат Александр, хоть и был молдаваном, сумел передать по наследству толику российской революционности, которая, очевидно, укрепилась во мне, благодаря влиянию крови и духа чешского прадеда. Хотя нельзя забывать, что и сами молдаване весьма свободолюбивы и революционны.

Между тем отец наш, Бузни Николай Ипполитович, по-моему, этой самой революционностью заражён не был. Будучи наполовину чехом и наполовину молдаваном, он хорошо пел тенором, выступал в студенческом театре, что в свою очередь передалось и его детям, которые всю свою жизнь, так или иначе, принимали участие в художественной самодеятельности.

Родился папа в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, а по паспорту на год раньше. Ошибки в период послереволюционных сумятиц происходили не только в умах, но и в бюрократических бумагах. До семнадцатого года ему удалось поступить в Симферопольский университет, учиться в котором, к сожалению, довелось недолго. Политически подкован не был и не совсем понимал суть происходящих в стране событий. Так что когда всех призывали в армию, то он с товарищем проявил пацифистские наклонности и решил уйти пешком из Сим-

ферополя в Севастополь, очевидно, полагая устроиться там на работу. Но по пути оба юноши были схвачены солдатами знаменитого тогда командарма Мокроусова.

Несмышленных беглецов посадили в какой-то старый сарай, а наутро повели под ружьём на расстрел. И так бы не родиться нам впоследствии, если бы не случайность. Навстречу под-расстрельным на тачанке ехал сам Мокроусов, который, оказывается, в гражданское время бывал в папином доме. Узнав в одном из молодых людей Николая, командир остановил конвой и отменил расстрел. Посадив перепуганных юнцов рядом с собой, Мокроусов, со смехом спросил:

– Ну что, повидали смерть в глаза?

Так судьба вновь удержала на волоске наше будущее рождение. Да, родитель наш не был революционером, но революцию принял по-своему, отдавая всего себя честной работе. Будучи простым счетоводом и став впоследствии бухгалтером, он завершил карьеру в должности главного бухгалтера киностудии, где славился именно честностью и умением в любой ситуации находить правильный выход без нарушения законов, что было делать с каждым годом всё труднее, но ему удавалось.

Как-то посетило Ялтинскую киностудию высокое начальство из Москвы. Их хорошо принимали и по появлявшимся традициям хорошо проводили с доставкой фруктов на самолёт. Главный бухгалтер киностудии, то есть наш отец, не возражал против расходов ни на обеды, ни на проживание в дорогих номерах гостиницы, ни на фрукты в дорогу. Но после отъезда гостей всё тщательно подсчитал и направил счёт министерству, которое и возместило расходы за счёт командированных.

Жили мы в те годы, прямо скажу, бедновато. Семья из шести человек, а работник один. Мама-то всё больше с детьми дома, хотя, конечно, тоже работала счетоводом, кассиром или бухгалтером под строгим контролем мужа. Дома были часто скандалы из-за того, что маме всегда не хватало денег на продукты, а папа время от времени собирал семейный совет и начинал доказывать с цифрами на бумаге, что при экономном расходовании средств, их вполне должно на всё хватать, что, как правило, вызывало у мамы слёзы, ибо на себя она ничего не тратила. После таких подробных расследований о том, куда могут уходить деньги, мы чувствовали себя крайне неловко, если мама покупала нам какие-то редкие сладости и просила не говорить об этом папе, чтобы он не рассердился.

Мне вспоминается один любопытный эпизод, говорящий о поразительной, с точки зрения сегодняшнего времени, честности папы. В нашей школе зачем-то потребовалось несколько листов бумаги, о чём попросили учеников. Мы, конечно, обратились к папе и пришли в бухгалтерию, где он вручил нам небольшую пачку чистых листов и сам проводил нас до проходной, где предъявил вахтёру расходный ордер, в котором указывалось, что за бумагу уплачено в кассу.

Сейчас такой поступок, наверное, вызвал бы гомерический хохот, а в те времена это было нормальным явлением для очень многих. Вспоминается также, как папа на той же киностудии выписывал себе домой дрова для печки. Оплатив пару кубометров отходов от поломанных декораций, он приходил на погрузку и сам следил, чтобы в машину не положили больше того, что он выписал, так что помогавший рабочий в сердцах говорил:

– Да что вы, Николай Ипполитович, тут и двух кубов нет, а вы говорите "хватит", – и почти тайно подбрасывал ещё пару корявых палок в кузов грузовика.

Однако позволю себе перейти, наконец, к предкам по материнской линии. Тут, пожалуй, придётся забраться в историю аж в восемнадцатый век. Иначе просто будет непонятно, почему в моей крови есть и что-то турецкое. Сам-то я по национальности числюсь русским, но читателю наверняка пока не может быть ясно, что же во мне русского, кроме того, что родился в Крыму, который в момент моего рождения принадлежал-таки России.

Но об этом несколько позже, так как главка моя, посвящена в основном девятнадцатому веку, а в восемнадцатый я лишь загляну на секунду.

Наша мама рассказывала нам, своим детям о том, что её прадед, то есть наш прапрадед был привезен в Россию мальчиком из Турции во время русско-турецкой войны, победы в которой одерживал Суворов, но не первой тысяча семьсот шестьдесят восьмого, длившейся почти семь лет, а во время второй, что началась в восемьдесят седьмом, а закончилась в девяносто первом того же столетия.

Где-то в этот период появился на Руси турецкий мальчик, фамилию которому дали Туркин, а прозвали Александром. Когда же он подрос, то женился, скорее всего, на русской женщине, поскольку имя своей дочери – моей прабабушки – дали Мария. Она в свою очередь, будучи уже Марией Александровной, вышла замуж за, белоруса Миронова Андрея Егоровича, канонира русской армии. Иными словами он служил в артиллерии, но был писарем, а значит грамотным человеком. Их дочь Лидия Андреевна Миронова, а после замужества Гущинская, и стала моей бабушкой, которую уже все дети и внуки хорошо знали и очень любили, так как она всю жизнь работала учительницей и умела прекрасно воспитывать детей в любви и согласии.

Так появилась во мне некоторая толика русской, турецкой, польской и белорусской крови. Что же до предков по линии отца моей мамы, то, к сожалению, данные о них пока не точны. Известно, что один из прапрадедов был крепостным крестьянином. Прадед Андрей носил белорусскую фамилию Гущинский, а женился, как и прадед по папиной линии, на польской девушке Александре. Их сын Владимир Андреевич Гущинский и стал нашими дедушкой, когда мы появились на свет.

Должен сказать честно, что никогда прежде и так же сегодня не считал и не считаю себя хоть в какой-то степени националистом. Причиной тому не только то, что я не могу себя причислить к какой-нибудь определённой нации. Уж если начать чисто математические вычисления, то больше всего чистой крови у меня чешской, так как одна бабушка по маминой линии была чистокровная чешка, если, конечно, не было смешений крови в её роду прежде, в чём невозможно быть уверенным. Остальные бабушки и дедушки были на четверть турки и русские (предположительно), наполовину поляки, молдаване, белорусы. Кем же мне себя считать, чью кровь отстаивать на митингах, с кем и за что бороться?

Убеждён, что такова же ситуация у огромного большинства людей не только в России, но и во всей Европе, Америке, Австралии, в меньшей степени в Африке и ещё меньше в Азии в силу устойчивости их традиций кастовых и религиозных браков, но с тенденциями к изменениям и у них. Это является второй причиной моего интернационального мировосприятия.

С детства привык считать себя русским. Папа и мама по паспорту оба русские, хотя мама сначала по документам числилась белорусской, тогда как её младший брат с самого начала был записан русским. И надо признаться, это не имело ни малейшего значения в их жизни. Я бы не возражал называть себя и чехом, и поляком, и молдаванином, оставаясь тем, кем я есть, и, продолжая любить ту Родину, в которой родился, воспитывался, жил.

А для того я всё это рассказываю, для того вынужден был нырнуть пером своим в чернильницу истории прошлого и даже позапрошлого века, чтобы наблюдательный мой читатель, погружаясь мыслями в наплывающие строки второй части романа, следуя за событиями вокруг его юной героини, не заподозрил бы меня в предвзятости по отношению к той или иной национальности, тому или иному народу.

Потому что именно в описываемый мною период национальные пристрастия в нашей стране, подталкиваемые изнутри политическими событиями, неожиданно прорвали сдерживавшие их оболочки запретов розни, чтобы по своей траектории подобно СПИДу начать не менее опасное разрушительное действие в умах миллионов и миллионов соотечественников, предлагая им разделиться, разобщиться, рассыпаться по своим национальным гнёздам. И огромный красивый сосуд государства, вылепленный руками сотен национальностей, вдруг

развалился, неравномерные и неравнозначные осколки покатались, выписывая свои собственные траектории, грозящие каждому осколку новыми ударами, могущими разбить его на более мелкие кусочки.

Но, кажется, я превысил полномочия, отведенные для вступления, и несколько забежал вперёд. Прошу моего снисходительного читателя простить и не сетовать на меня. Перо повествования не всегда спрашивает, что делать. Пусть же само и выкручивается дальше.

ЛЕС

Солнце выглянуло краешком глаза из-за чёрного, но уже голубеющего слегка моря и увидело горы. Они вытянулись на целых сто пятьдесят километров, упираясь в засветившееся небо непокрытыми головами, теперь стыдливо зарумянившимися в лучах восходящего светила.

Секундами раньше столь же девственно заалели пышногрудые белые облака, которые теперь словно огромные парашюты зависли над неприступными стенами величественной горной крепости.

Принарядившись в пурпурные одеяния, и те и другие восхищали многообразием и тонкостью оттенков, начиная от яркой снежной белизны до едва просвечивающейся бледной розоватости, постепенно наполняющейся пунцовой пышностью и переходящей затем к пылающему огнём сочному румянцу.

Игра красок шла наверху, где небо уже торжествовало победу солнца, а чуть ниже, резко очерченной полосой фронта, всё ещё чёрный и хмурый после сна, подступал к этому празднику могучий лес.

Но вот ещё несколько мгновений и блики веселья и радости упали со скал на деревья, и заулыбались осветлённые листья вековых буков, заискрились на солнце иглы пушистой крымской сосны, чувствующей себя равной среди лиственных великанов Крымских гор.

Первые солнечные лучи соскользнули по веткам на землю, и настроение счастья передалось, наконец, всем: птицам, зверушкам, насекомым, цветам и пахучим травам. Зазвенело вокруг, зачирикало, заплясало, закружилось. Ручеёк неприметный, казалось, молчавший в темноте, и тот возрадовался, плещется, сверкает струйками, пускает зайчики в глаза, журчит и будто бежит быстрее, проворнее.

В лесу начался день. Здесь, в горах южного берега Крыма у самой Ялты он приходит сверху, постепенно спускаясь в зону царствования крымской сосны и дальше в приморский шибляковый пояс, где вместе с чашечками цветов раскрываются двери жилищ человека, многоэтажных жилых домов, санаториев, гостиниц.

Они смотрели на просыпающиеся дома сверху лес и сидящий на лесной скамеечке человек в синей фуражке. Это был его лес, его радость и боль.

Почти сорок лет назад он пришёл сюда мальчишкой. Только отгремела война. Народ восстанавливал разрушенное хозяйство. Отдыхать было некогда и не на что. Дикими и некультурными выглядели тогда морские берега. Один из пляжей Ялты так и назывался "Дикий". Они, ребята, любили купаться именно там, среди хаоса упавших в воду камней, где, прижавшись к одному из них, почти сливаясь с ним, затаив дыхание, можно было увидеть осторожно выползающих из моря погреться на солнышке крабов, окунувшись в воду, поохотиться за креветками, понырять за рапанами.

В те времена у берегов Ялты ещё водились в большом количестве бычки, а удачливые рыбаки на простую удочку без особых хитростей и приспособлений могли поймать ставриду, кефаль и даже камбалу. У самого берега среди камней приятно было наблюдать греющихся на песочке под водой стайки султанок, или, как их называли, барабулек.

Человек в синей фуражке, конечно, был лесником. Он тяжело вздохнул, вспоминая барабулек, о которых ныне говорят лишь старожилы, а когда-то её носили по дворам рыбаки, предлагая хозяевам не только этих красноватых на вид маленьких рыбок, но и огромные шипастые, словно щиты древних рыцарей, плоские туши камбал, толстые тела лобанов, узкие как змеи

тельца сарганов, да разную другую морскую живность, которую иная хозяйка и брать боялась, пока тот же рыбак не объяснит дотошно, как чистить это диво, да что делать дальше и не отравись ли ненароком.

Давно это было. Лес в то время почти везде начинался от моря. Оно то ласково подкатывалось к нему, еле слышно поплёскивая, словно прислушиваясь к тому, о чём шепчутся между собой деревья, то вдруг бушевало и гремело, атакуя мощными ударами крутые берега, слизывая всё, что плохо держится, в свою бездонную кипящую пучину, и тогда лес тоже не оставался спокойным. Вековые дубы, древние, как мир, фисташки, приземистые можжевельники мощным хором выдыхали свой вызов морскому гневу и крепко удерживали землю, на которой росли, могучими корнями, не отдавая ни пяди её всё поглощающей стихии.

Лесник работал всю жизнь в лесу, был его частью, с которой невозможно расстаться, но любил и море. Оно делало его лириком и борцом, оно же бесконечным движением волн вдыхало в него жизнь, как, впрочем, делал и лес, охватывая тело и душу своими таинственными волнами природного бытия.

Выходя в море на вёсельной лодке порыбачить и просто подышать солёным воздухом, лесник становился немного моряком, упивающимся таинством морских глубин, которые необъяснимым волшебным образом вселяли в тело радость от сознания возможности плыть в этой могучей стихии на огромной, в сравнении с ростом человека, высоте от дна, чувствовать себя сильным и счастливым, пока не разъярится море штормом. Но и тут лесник не боялся, так как знал заранее по природным приметам о предстоящем гневе.

Едва появлялся ветерок, а за ним белые барашки на волнах, чуть только завиднелась тёмная полоса на горизонте, сильные привычные ко всему руки сразу начинали поворачивать лодку к берегу, дабы удовольствие приятного покачивания на волнах не сменилось напряжённой борьбой с ними в стремлении преодолеть не только ветер и удары катящейся пенящейся воды о борта, но и возникающего порой течения, как правило противоположного направлению твоего движения.

Правда, иногда хотелось именно поспорить со стихией, померяться силами, и тогда лесник намеренно задерживался в море, чтобы потом с силой врезаться вёслами в совсем осерчавшие волны, не позволяя им опрокинуть смельчака, для чего резко разворачиваться носом на самую большую волну и подлетать на ней кверху, и снова поворачивать к берегу, поглядывая внимательно, не набегает ли сбоку другая, ещё коварнее и больше предыдущей.

Шутки с морем плохи, но зато каким же счастливым ощущал себя лесник, когда с последней волной он удачно буквально вылетал чуть не на полкорпуса лодки на берег, прошипев днищем по песку, и выбрасывал своё тело ногами, обутыми в высокие резиновые сапоги, прямо в убегающие языки волны, чтобы подхватить борт лодки и вместе с подоспевшим помощником тащить её повыше, подальше от кипящего в злобе моря, так и не сумевшего победить в этот раз человека.

Впрочем, такое удовольствие леснику доставалось довольно редко. Работа в лесу отнимала большую часть жизни. Это только туристам, встречающим в лесу неторопливо шагающего человека в синей фуражке, казалось, что работа его в том и заключается, чтобы прогуливаться в своё удовольствие по тропинкам, да отдыхать на солнечных полянках. Мало кому из них известно о напряжённых государственных планах по сбору и сдаче шишек да зелёной массы, расчистке леса от сушняка, посадках новых деревьев, охотой за браконьерами, выискиванием запрещённых петельных капканов, выставляемых на редких уже куниц и барсуков.

Но как ни тяжела была эта физическая работа, и как ни мала была её оплата, лес захватил в себя лесника со всеми его мыслями, переживаниями, надеждами. Здесь он чувствовал себя увереннее, чем в море, хотя в иные минуты, а то и длинные, кажущиеся тогда просто нескончаемыми, часы, когда над кронами деревьев бушевал ураган и лес хрипел, стонал и плакал, сопротивляясь терзающим его во все стороны порывам ветра, в такие периоды жизни леса его

хозяин лесник будто попадал снова в бурлящие пенящиеся волны моря, ожидая опасности с любой стороны.

Он был мал, человечек, в этом гигантском беснующемся зелёном мире, где высокие, прежде гордо тянувшиеся к небу, а теперь боровшиеся с напорами ветра сосны, упрямо не хотели сгибаться, но не всегда выдерживали натиск и, горестно крикнув, неожиданно надламывались и роняли на землю свои головы с пышными шевелюрами хвои, тогда как исключительно могучие, казалось никем не могущие быть побеждёнными столетние грабы, вдруг, охая и старчески кряхтя, выворачивались из земли с корнями и падали, ломая на своём пути маленькие тощие кизильники да дикие яблони. А ветер продолжал метаться среди ветвей, обламывая то одну, то другую, носился среди кустов, но уже значительно ослабленный и не могущий тут практически никому повредить. Весь удар на себя принимали деревья, и они побеждали, в конце концов, хоть и с большими потерями.

В такие минуты лесник ничем не мог помочь лесу, который сам спасал его от стихии. Зато потом лечить раны, приводить всё в порядок было делом человека. И он делал с удовольствием это дело, лесник Николай Иванович Шишков. Да, фамилия у него была лесная. И сам он чем-то был похож на кусочек леса. То ли коричневатым загоревшим на солнце лицом, сухим и вытянутым, словно согнутым умелым мастером из коры дерева, изборождённой трещинами морщин, то ли корявыми, привыкшими к напряжённой работе пальцами сухих и жилистых ладоней, напоминающих собой сучки деревьев. Полотняные, выгоревшие от солнца, куртка и брюки напоминали цветом стволы деревьев. Только фуражка своей тёмной синевой несколько меняла впечатление, полевая сумка военного образца, перекинута через грудь на длинном кожаном ремне, да глаза, теперь внимательно всматривавшиеся куда-то вдаль, оживляли лесную скульптуру.

Отсюда, с лесной скамеечки участка горно-лесного заповедника, что расположен у ущелья Уч-Кош, хорошо просматривается Ялта. Николай Иванович помнит её, какой она была в первые послевоенные годы. Тогда для того, чтобы выбраться из Ялты в лес, они с мальчишками проходили узенькими улочками, выющимися между старыми татарскими домиками посёлков Дереккой, Аутка или Ай-Василь, вдоль раскидистых деревьев грецкого ореха, шелковицы, граната, японской хурмы, миндаля и других экзотических фруктовых деревьев, плодами которых любили полакомиться ребяташки по пути.

Тогда при подъезде к Ялте дух захватывала изумительная картина морского залива, окруженного горами, у подножия которых стелился зелёный ковёр богатой растительности с кое-где проглядывавшими крышами маленьких домов. Цветение этого изумительного природного ковра можно было наблюдать в любое время года, начиная с января, когда, если зима выдавалась тёплой, в садах и лесу начинал желтеть кизил, появлялись розовые купола миндаля, затем закипали белой пеной сливы, черешни, яблони, выплёскивали свои нежные розовые краски абрикосы, персики и так до самой осени. Ковёр был особенно прекрасен на фоне переливающегося десятками оттенков голубого моря.

Сейчас шёл февраль тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года. Зима оказалась тёплой, и цветение началось, но Ялта не сверкала своей прежней красотой. Перед глазами лесника лежал тот же залив, тот же любимый им город, но вместо зелёного ковра от самого берега моря шёл частокол серых домов, среди которых кое-где проглядывали группки деревьев. Только вдоль улицы Московской, вытянутой как стрела от моря до самых гор вдоль речки Дереккойки, сменившей облик и название, пролегли аллеи тополей, которые в зимнее время года выглядели такими же серыми, как дома.

Однако Николай Иванович обратил свой взор в настоящее время не на Ялту, а на карабкавшихся по горе в его направлении две фигурки молодых людей. Одна из них оказалась парнем, который, несмотря на рюкзак на спине, довольно ловко и без напряжения поднимался,

постоянно помогая своей спутнице, то сверху протягивая ей руку, то подталкивая под локоть и пропуская вперёд, когда она цеплялась за ветки кустов, подтаскивая себя на полметра вперёд.

У парня на голове красовалась такая же фуражка, что и у лесника, но Николай Иванович не мог узнать издали, кто из коллег к нему направляется, и удивляла спутница, явно новичок в вопросе хождения по горам без тропы. Зачем бы это лесник потащил за собой неопытную в горах девушку по крутизне?

Девушке было трудновато, но оба весело смеялись над её неуклюжестью и всё же бодро взбирались пока не достигли, наконец, тропы, неподалеку от которой и сидел Николай Иванович. При виде его молодые люди несколько растерялись от неожиданности, но лишь на мгновение. Парень тут же направил спутницу прямо к скамейке и весело поздоровался, поясняя своё появление:

Здравствуйте! Я Усатов. Общественный дежурный с Ялтинского участка. Работаю в Магараче. Мы дежури́м обычно у АБЗ, но вот решили пройтись в ваши края. Хочу показать своей гостье Грушевую поляну и, если успеем, забраться к Красному Камню.

Николай Иванович, разумеется, знал о работе общественных дежурных, которых выставляли обычно в летние и осенние месяцы почти на всех подступах к лесу с целью предупреждения пожаров и ограничения сбора цветов и ягод в заповедной зоне. Многие работали очень хорошо, помогая даже в борьбе с браконьерами. Каждую субботу и воскресенье, а пенсионеры и в будние дни, они появлялись на своих постах, чтобы останавливать проходящих на прогулку людей и предупреждать их об опасности курения в лесу, о запрете разведения костров о нежелательности собирать что-либо в лесу в больших количествах.

К сожалению, это не уберегало полностью лес от пожаров. Каждое лето и осень где-нибудь да возникало пламя и тогда сотни людей направлялись на его тушение. Всем жителям Ялты хорошо известно, что лес и море главные богатства курорта. Не было бы одного из них, не было бы и самого курорта. Поэтому малочисленная группа лесников каждый год подбирала себе помощников, которым ничего не платили за дежурства, но выдавали форменные фуражки и удостоверения, обладатели которых имели право появляться в любом месте заповедника и инструктировать посетителей леса о правилах поведения на его территории.

Любителей дежурить в лесу пусть и бесплатно, но имея официальное разрешение, находилось немало, так что можно было даже выбирать, выдавая удостоверения только тем, кому доверяли на предприятиях. На участке Николая Ивановича дежурили главным образом работники винкомбината "Массандра", дома отдыха "Донбасс" и некоторых других организаций, находящихся поблизости. Их он знал в лицо почти всех, кто не отлынивал от дежурств. Участок асфальтобетонного завода, или как его сокращённо называли АБЗ, находился отсюда далеко, и с теми дежурными сталкиваться приходилось реже, поэтому Николай Иванович всё же решил проверить и спросил:

Удостоверение с собой?

А как же, без него не хожу. Порядок знаю, серьёзно ответил Володя и достал из кармана джинсов серенькую книжечку в твёрдой обложке.

Николай Иванович развернул документ. Фотография совпадала, дата была не просрочена. Возвращая удостоверение, он посмотрел на девушку, которая была такого же примерно возраста, что и парень, и одета почти в такие же джинсовые брюки, и в руках, как и у него, был свитер, который она сняла, как и он, видимо, при подъёме в гору, так как вообще-то особой жарой этот февральский день не отличался, и без тёплой одежды в лесу было бы довольно прохладно.

Девушка присела рядом с лесником, отдыхая от утомившего её подъёма, и качнула несколько раз головой, рассыпая по плечам золотистые волосы. Дыхание высокой груди постепенно успокаивалось, круглое личико улыбалось. Чувствовалось, что она быстро приходит в себя и совершенно довольна.

ДОМА

Я понимаю, дорогой читатель, что как бы то ни было, но догадка всё-таки осенила и правильно. Перед нами опять наша Настенька. Но, как и почему она оказалась в Ялте, почему с Володей, которого сама просила больше не встречаться, что произошло за это время? Спокойнее только. Не надо так много вопросов и так быстро. Обо всём я, несомненно, расскажу, но ведь не сразу же, а по порядку или не по порядку, а как получится. Словом, поехали дальше.

После того самого вечера неожиданной любви, когда Настенька почти насильно выпроводила Андрея из Наташиной квартиры, отплакавшись, она навела порядок в комнате и пошла к себе домой, где её давно ожидали на семейный совет, который решил собрать бабушка, оставшийся по-прежнему теоретически главой семейства. Почему теоретически? Да потому, что фактически главенствовала обычно бабушка. Происходило это всегда весьма просто, как и в данном случае, когда Татьяна Васильевна сказала мужу, как всегда часто произнося звук "а" вместо о:

– Придёт Настенька – сабери семейный совет. Нада решать, что дальше. Сегодня у неё последний день на курсах. Через три дня экзамен и пара ей заниматься делом.

Поэтому едва Настенька скинула в прихожей туфли, поменяв их на тапочки, и шмыгнула налево на кухню что-нибудь закинуть в рот, как тут же услышала дедушкино ворчливо-ласковое:

– Куда, куда, попрыгунья? Всё давно на столе тебя дожидается. И мы все ждём. Я сегодня семейный совет собрал.

Тут же на кухне появилась бабушка с командой:

– Чего в кастрюли заглядываешь? А ну быстро руки мыть!

Умываясь в ванной и готовясь сесть за накрытый стол по давно установленной традиции рядом с папой, Настенька чувствовала себя не очень уютно в этот раз. Она понимала, что речь пойдёт о ней, и понимала, что никто не может правильно рассуждать о её настоящем и будущем, не зная всей правды о том, что с нею произошло, но и рассказать всего она не могла. Здесь были самые близкие ей люди, но именно перед ними было бы невыносимо стыдно, если бы они узнали обо всех её хождениях в гостиницы, о сегодняшней встрече с Андреем, жар от которой она продолжала ощущать.

И вдруг Настеньку обожгла мысль: "Что если они уже всё знают и потому собрались на семейный совет?" Внезапно ей припомнились взгляды вахтёров, особенно одного из них в гостинице Россия, который, скорее всего не поверил, что она иностранка и стал спрашивать её на русском языке. Настенька продолжала щебетать что-то своему спутнику на английском, не обращая внимания на вахтёра. Они прошли, но недоверчивый взгляд запомнился. Может, кто-то из них позвонил уже бабушке и сказал. Хотя доказать это трудно, но отказываться ещё трудней. "Боже, какая же я дура, – продолжала думать Настенька. – А КГБ? Они могли узнать её фамилию и сказать папе".

Настенька была очень осторожна с такими встречами. Во-первых, их было не так уж много. Во-вторых, к счастью, все её, так называемые не клиенты, а жертвы оказывались из разных гостиниц. Дважды она оказалась лишь в Киевской. И, в-третьих, будучи очень осмотрительной, Настенька входила и выходила из гостиниц всегда с группой иностранцев, а из номера гостиницы только когда в коридоре никого не было.

До сих пор Настеньку никто не останавливал, никто с нею не беседовал на эту тему и потому она была уверена, что ничего никто доказать не сумеет. И всё же в глубине сознания таилась мысль, что КГБ может всё. Она сама ничего не имела против этой серьёзной организации, понимая, что их дело ловить шпионов и тех, кто им помогает, понимала, что, наблюдая её встречи с туристами разных стран, со стороны можно подумать, что угодно, и быть правым. Так что если её всё же засекли и рассказали папе, то вот где была бы особая неприятность.

Отцу Настеньки было сорок пять, но его продолжали иногда называть молодым человеком, не смотря на его маленькую шекспировскую бородку. Он очень любил свою Настёну и не только никогда пальцем не тронул, но даже голоса не повышал, когда ругал за что-нибудь. И всё же больше всего с самого детства она боялась его осуждения. Причиной тому, наверное, было то, что чуть ли не с грудного возраста, когда она не хотела есть, или в чём-то провинилась, все пугали её тем, что скажут об этом папе. Это было самым страшным, хотя, когда ему на самом деле говорили, и Настенька начинала плакать навзрыд, то именно папа всегда её успокаивал и объяснял, что ничего ужасного не произошло, что чашки у всех когда-то бьются, одежда у всех пачкается, только не следует этого делать нарочно, случайности же происходят у каждого.

Но всё-таки мысль "папа узнает" осталась навсегда пугающим фактором, заставляющим молчать тогда, когда именно он бы мог помочь, если бы только знал. Да, папа мог всё. Так всегда считала Настенька. Когда её маленькую спрашивали, есть ли бог на земле, она отвечала, не задумываясь:

– Бог есть. Это мой папа.

Одно было плохо, что они с мамой часто уезжали в командировки. Даже когда он не был за рубежом, то ему приходилось сопровождать какие-то группы то в один город страны, то в другой. Отправляясь в очередную поездку, он любил записывать на магнитофоне задания Настеньке. Утром следующего дня она слушала запись, которая звучала примерно так:

– Доброе утро, Настёна! Ты уже сделала, надеюсь, зарядку и набралась достаточно сил за завтраком, чтобы приступить к занятиям? Очень хорошо. Теперь вынь, пожалуйста, жевачку изо рта. Я же тебе говорил, что заниматься английским надо с пустым ртом.

В первый раз, когда она услышала это, Настенька побежала к маме в другую комнату и с изумлением спросила:

– Мам, папа на магнитофоне говорит, чтобы я вынула жевачку изо рта. А откуда он знает, что я её жую? Он же далеко отсюда.

Но маме всегда было некогда задумываться над всякими штучками мужа, и она отвечала бесхитростно:

– Папа всё знает. Иди, не отвлекайся.

Вот это "Папа всё знает" и беспокоило теперь Настеньку. С одной стороны она бы и хотела, что бы он знал всё, а с другой, то есть со стороны многолетней привычки, её это пугало. Стоя перед зеркалом, она пробовала несколько раз менять выражение лица, чтобы оно не выдавало её волнения, но когда вошла в комнату, папа сразу что-то заметил и проговорил не то серьёзно, не то шутя:

– Настён, обычно говорят "Что ты, Федул, губы надул?", а тебе надо сейчас наоборот сказать что-то типа "Что осерчала, губы поджала?".

– Плохая рифма. – буркнула Настенька, усаживаясь рядом с отцом и беря вилку.

– Да неважненькая, но это же не пословица, а я на ходу придумал. И всё-таки губы поджимать не очень хорошо. Ты замечала, что люди с открытыми губами и характер имеют открытый? А когда губы поджимаются или закусываются, тут уж дело не очень хорошо. Говорить с таким человеком приходится осторожнее. А это всегда менее приятно. Ты, мне кажется, их в последнее время часто закусывать стала. Так или ошибаюсь?

Он хотел ещё что-то добавить, но дед перебил его:

– Ладно-ладно, мы сегодня не для этого собрались. Пусть она ест. Голодная же. А мы пока подумаем, что ей делать после своих курсов. Конечно, хорошо бы вернуться снова в институт пока есть такая возможность. Но она говорит, что не хочет. Так что делать будем?

– Деда, – возмутилась Настенька, – может я сама это решу? Это моя проблема, в конце концов.

– Твоя-твоя, но ты уж наreshала, – сердясь, проговорила Татьяна Васильевна. – Мы тебя воспитывали, нам и ответ держать за тебя пока на ноги не поставим.

Настенька, догадавшись, что все её основные опасения не оправдались, успокоилась, а губы по-настоящему надулись, как у обиженного ребёнка. Ей не хотелось, чтобы ею занимались как маленькой. Но папа тут же вносил коррективы в разговор, поправляя слова матери:

– Настён, ответ ответом, но решаешь, конечно, ты сама. Давай прикинем, где тебе интереснее будет работать. Специалист-то ты теперь неплохой – языки знаешь в какой-то степени, правда, без диплома, к сожалению, печатаешь быстро. Это не так мало. Можно и повибирать работу.

– Алёша, ты что? Не можешь устроить её в ГКЭС? Попроси Петра Петровича в кадрах. Им всегда машинистки требуются. – Это вступила в разговор Настенькина мама, мывшая посуду на кухне и прислушивавшаяся к разговору. – Оттуда можно и за рубеж потом поехать.

Но Настенька немедленно воспротивилась такому варианту:

– Ни в коем случае. Я не хочу работать там, где все вас знают. И вообще хочу работать где-нибудь в тихом месте, где меньше людей.

И ни в какую за границу я уже не собираюсь, – добавила она, подумав о том, какой фурор вызвала бы при прохождении обязательной медицинской комиссии, на которой при сдаче крови сразу обнаружат у неё СПИД.

В это время в прихожей зазвонил телефон. Он специально стоял там, а не в общей комнате, чтобы разговаривающий не мешал смотреть телевизор, выключенный на время ужина, но через несколько минут должна была начаться программа "Время", которую обычно смотрели все, кто находился дома, кроме Настеньки, вечно занятой своими делами, и Иван Матвеевич нажал кнопку "Рекорда". В комнатах Настеньки и её родителей стояли современные японские телевизоры, а здесь старики не хотели менять советскую модель, объясняя тем, что незачем расфуфыривать деньги напрасно, если телевизор и так пашет неплохо.

К телефону подошла Татьяна Васильевна и после нескольких приветствий и восторженных фраз она вдруг прикрыла трубку рукой и позвала Настеньку:

– Внученька, тут мне моя старая приятельница Галина Ивановна директор музея Николая Островского звонит, просит помочь найти ей машинистку с перспективой перевода на работу экскурсоводом. Ты бы не согласилась подойти посмотреть? Может понравится?

– Это тот, что на улице Горького рядом с Елисеевским?

– Ну да. Мы с тобой там однажды были.

– Вообще это любопытно. Скажи, что я подойду поговорить.

– Только они мало платят.

– Ну, от голода-то я не умру, пожалуй.

МОСКВА 1987 ГОДА

Вот так и случилось, что на следующий день Настенька, не дожидаясь экзаменов на курсах, уже начала работать в музее, который понравился ей, прежде всего тем, что он маленький, в центре города и ничего в нём от девушки не потребовали кроме желания трудиться. Привлекло и то, как её приняли, пригласив прежде всего, до разговора, посмотреть музей, где безумно увлечённая темой экскурсовод Инесса Александровна Тупичёва по просьбе Галины Ивановны провела с Настенькой целую экскурсию, разрешив даже зайти в мемориальную квартиру писателя, куда всем другим вход категорически запрещён, о чём Настенька помнила по первому посещению этого музея со своим классом.

Печатать на машинке её посадили в небольшую комнатку на втором этаже, куда нужно было проходить, свернув с широкой парадной лестницы старинного дома, по узенькому криковому коридорчику, спускаясь и поднимаясь по лестницам. Это тоже устраивало, поскольку здесь её почти никто не мог увидеть.

Но самое главное в принятии решения было то ощущение, которое возникло чуть ли не с первых слов директора: "Мы все здесь любим Островского. Мы все считаем себя корчагинцами".

До сих пор в душе Настеньки всё как бы переворачивалось вверх дном от того, что писалось теперь в газетах, говорилось по радио и телевидению. Люди начинали шалеть от предстоящих перемен, которые сулили им большие прибыли, богатую жизнь, какую-то немислимую свободу от организованности, от порядка, от идеалов, во имя которых жили и умирали целые поколения. Всё это воспринималось мучительно. Настенька попыталась сдаться, пойти на поводу перемен и поняла, что несётся неудержимо к катастрофе. Откуда-то взявшийся другой внутренний голос, печальный и трагический, говорил ей: "Ну что, доигралась? Вот и умрёшь теперь, хоть и не знаешь когда, но гораздо раньше, чем могла бы при нормальной жизни. А что сделала? Какой толк от тебя людям?"

Эти мысли роились далеко в подсознании, но как только она переступила порог музея Николая Островского, как только увидела у входа его бюст, вылепленный замечательным скульптором Коненковым, на неё начало надвигаться, постепенно захватывая всю, это новое ощущение, которое не сразу поняла. Её повели в зал экспозиции, и она увидела те самые слова, что теснились у неё в голове, которые никак не могли оформиться, точнее могли и были понятны, но отталкивались новыми веяниями, не нравившимися ей. Слова такие простые: "Самое дорогое у человека – это жизнь". Об этом говорил и Чехов. Да, да, тысячи раз да, но какая жизнь? Жизнь червяка, иуды, хапуги, убийцы? Нет-нет. Это жизнь, которую живёшь так, как писал Островский: "чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жёг позор за подленькое и мелочное прошлое".

Вот то, что её мучило. Она хотела жить именно так, а что получилось? Она вошла в музей, в котором все думали так, как она раньше. Ей стало легче дышать. Значит, не только она, не только у неё дома, но и здесь люди верят в порядочность и честность, в идеалы революции для народа, в то, что можно сделать других счастливыми. Её охватило ощущение того, что она попала в мир своих прежних переживаний, в тот мир, в котором она выросла и из которого так не хотела уходить. И потому она осталась в нём, в музее Николая Островского.

Сначала она так и работала машинисткой, довольно легко справляясь с, в общем-то, небольшим объёмом машинописных работ. Но в музее не все оказались настоящими корчагинцами, как любила говорить директор. Под влиянием быстро меняющейся ситуации в стране, когда революционное прошлое всё больше оплёвывалось, а идеалом настоящего всё больше становилось личное обогащение, некоторые сотрудники музея теряли веру в перспективы их некогда славного для всех учреждения и уходили, кто в появляющиеся коммерческие структуры, чтобы очень скоро об этом пожалеть, кто в другие более нейтральные в политическом отношении организации. Так что очень скоро возникла острая потребность в научном сотруднике – экскурсоводе, кем не без труда уговорили-таки Настеньку работать.

Среди посетителей музея было немало иностранцев, а с языком, кроме Инессы Александровны, самозабвенно рассказывавшей об Островском на немецком языке, никто больше работать не мог, вот и пришлось Настеньке сначала помогать, если приходили англо– или франко говорящие посетители, ну а чем дальше, тем больше. Да и как отказаться, если всем видно было сразу, что она сможет – выступать-то перед публикой она никогда не боялась.

Тем временем, подходил к концу тысяча девятьсот восемьдесят седьмой год. Он оказался стрессовым не только для Настеньки. Впрочем, население всей страны и Москвы в частности продолжало жить своей обычной суетливой жизнью даже после знаменитого октябрьского Пленума ЦК КПСС, на котором с неожиданной сумбурной речью выступил Борис Ельцин. Широкие массы страны просто не знали ещё этого человека. Но всё же стресс был. Шутка ли, кто-то из членов Политбюро выступил с критикой? Когда это было в истории государства? Что именно Ельцин говорил и как, почти никто не знал. Но для обывателя ведь что важно сначала?

То, что кто-то сделал что-то не так как все. Если ты работаешь хорошо, живёшь так же как другие, стоишь в очередях за сахаром и колбасой, читаешь, пишешь, спишь, никого не убил, ничего не взорвал, короче, ничем не выделился от других, то чем же ты интересен? Другое

дело, если ты, например, выпустил подпольно газету или журнал. Никто ещё не знает, что ты там написал, но... Обыватель рассуждает так: Если выпустил подпольно, значит против власти, если против власти, значит за народ, а раз так, надо поддержать. Так уж принято считать в кругу обывателя, что власть и народ – разные вещи. Народ-то везде и всегда живёт хуже власти. Вот и с выступлением Ельцина было так же. Выступил, не побоялся – герой.

Но не будем, дорогой читатель, обижаться на обывателя за его скоропалительные выводы. Он-то чем виноват, что не мог всё узнавать сразу, как говорится, из первых уст? Простим ему и лучше расскажем, что же произошло в Москве в те знаменательные октябрьские и ноябрьские дни.

Двадцать четвёртого октября Настенька вместе со всеми, откликнувшимися на призыв принять участие во всемирной акции, вышла в город, чтобы присоединиться к организованным колоннам людей, неспешно двигавшимся к спортивному комплексу “Олимпийский”. Именно здесь ровно в полдень ударил набат, возвестивший о том, что Москва поддерживает Японский город Хиросиму, народ которой в этот день сорок два года тому назад стал плавиться на асфальте, вминаться в стены домов, мгновенно погибать под развалинами, а чудом выжившие долго и мучительно умирать от одной только ядерной бомбы, впервые сброшенной на человечество. С тех пор регулярно прокатываются волны протеста почти по всем странам мира, выступающим против войн. “Волна мира”, начавшаяся, как всегда, ударом набата в Хиросиме, откликнулась эхом в советской России сначала в чукотском городе Уэлен и затем по всем городам и весям на запад, пока волна не докатилась до Москвы. На московском митинге выступающие говорили, что нынче год особенный, так как “появился просвет в грозовых тучах международной напряжённости. Достигнута принципиальная договорённость между СССР и США о полном уничтожении двух классов ядерного оружия – ракет средней и меньшей дальности, что может стать провозвестником безоблачного мирного неба над планетой”.

Собравшиеся на площади пришли сюда, потому что их пригласили, так как, конечно, они не сами это придумали. Но каждый из них хоть раз, хоть в самой глубине души, хоть совсем подсознательно всё-таки подумал о том, что хорошо было бы на самом деле всегда видеть небо над головой чистым и знать, что оно никогда уже не укроется за грибом атомной бомбы, не разорвётся её слепящим огнём, не сомнётся волной взрыва. И потому прощали тем, кто уговаривал идти на эту акцию.

Среди тысяч пришедших не было ключевых лиц столицы и государства. Для Ельцина и Горбачёва слишком мелка была эта акция в сравнении с грядущими событиями и тем, что произошло двадцать первого октября. Никто на площади не знал, что в тот именно день, началось великое противостояние двух, противостояние, которое надолго лишит покоя всю страну, лишит жизней не меньше людей, чем взрыв атомной бомбы, сделает небо туманным и жутким для миллионов желающих, чтобы оно было всегда голубым и мирным.

Через неделю после этого события партийное руководство ещё не было готово среагировать на беспрецедентное выступление Ельцина и потому плановое заседание бюро Московского городского комитета КПСС проходило дежурным порядком, как если бы Ельцин нигде не говорил о своей отставке. Впрочем, он ведь заявил об отставке из членов Политбюро, а не от должности секретаря горкома партии, что сразу же было отмечено Горбачёвым.

Ельцин и члены бюро горкома, как ни в чём не бывало, обсуждали ход подготовки города и трудовых коллективов столицы к празднованию 70-летия Великой Октябрьской революции. При этом было подчёркнуто, что подготовка к юбилею стала важным фактором подъёма трудовой, политической и духовной активности коммунистов и беспартийных, всех москвичей. Была рассмотрена хозяйственная деятельность города за девять месяцев, подведены итоги социалистического соревнования, констатировалось, что принятые к юбилею обязательства в основном выполнены, сообщалось о скором завершении формирования архитектурного ансамбля на

Ленинской площади Москвы, о реконструкции Павелецкого вокзала и строительстве участка метрополитена “Беляево” – “Тёплый стан”.

Словом успехи были, но отмечались и недостатки. Оказывается, тридцать девять промышленных предприятий столицы не выполнили план по реализации промышленной продукции. Многие районы города не выполнили взятые социалистические обязательства и только пять районов справились полностью с условиями социалистического соревнования.

Ельцин счёл нужным устроить разнос и поставить на вид первому секретарю Бауманского райкома партии Николаеву за невыполнение постановлений ЦК КПСС по преодолению пьянства и алкоголизма. Разнос был как бы предупреждением к предстоящему увольнению. Да, скорее всего, уволен был бы этот секретарь уже сейчас, если бы не знал Ельцин о неминуемо надвигающемся Пленуме горкома партии, где ему самому не придётся есть пряники, а пить полынную горечь изменившихся отношений.

Мне не хочется водить уважаемого мной читателя вокруг да около событий. Ему, конечно, понятно, что празднование крупного юбилея советской власти не позволило руководству страны решить проблему с ослушником Ельциным немедленно после того, как он фактически, хоть и неуклюже, но бросил перчатку вызова Горбачёву. Несомненно, подготовка к знаменательному юбилею требовала сил и энергии. Но я подозреваю, что, если бы очень захотели на Старой площади Москвы немедленно расправиться с любым человеком любого ранга, то и трёх дней хватило бы. Поэтому я предлагаю моему читателю самому задуматься над этим вопросом, а для получения дополнительной информации к размышлению, давайте зайдём с вами в зал заседаний, куда лишь одиннадцатого ноября описываемого года собрались члены Пленума Московской городской партийной организации, и послушаем кое-что из их выступлений. Почувствуйте, пожалуйста, себя членом одним из присутствующих в зале. Усадьтесь поудобней в кресло – выступлений будет много, их все надо выдержать – и приготовьтесь понимать не только то, что произносят уста оратора, но и то, что может за его словами скрываться.

Уникальность этого Пленума, как заметит уже устроившийся в кресле читатель, заключается не в том, что на нём сняли с высокого поста Ельцина, а в том, что многие позволили себе говорить искренне то, что думали о своём бывшем боссе, и о наболевших проблемах, которые относились не всегда только к Ельцину, но порой и ко всей партийной номенклатуре. Они высказывали боль, о которой прежде молчали. Послушаем же их, но сначала выступил Горбачёв. Напоминая собравшимся об Октябрьском Пленуме ЦК КПСС, он говорил:

– Политбюро ЦК видело задачу в том, чтобы показать историческое значение Октября, сделать обстоятельный анализ всего, что совершено за семь послеоктябрьских десятилетий. Важно было во всей полноте раскрыть непростой первопроходческий путь советского народа и ленинской партии, соотнести его с нашими современными заботами и делами, всесторонне осмыслить уроки пройденного...

Главным сейчас становится практическая реализация выработанной программы. С этой точки зрения, говорилось на Пленуме Центрального Комитета партии, предстоящие два-три года будут решающими и в этом смысле критическими. По сути, это будет испытание способности партии, её ЦК, всех партийных, советских, хозяйственных кадров, да и трудовых коллективов обеспечить успешное проведение в жизнь выработанных решений по коренным вопросам перестройки.

Хочу обратить внимание тех, кто любит анализировать, на тот факт, что прежде мы никогда не сомневались в способности партии выполнять свои решения, а тут Горбачёв сообщает, что предстоящие годы будут “испытанием способности партии, её ЦК”. Стало быть, Горбачёв сам не был на сто процентов уверен в способностях партии и самого себя во главе. Но послушаем его дальше. Теперь он говорил о реакции Ельцина.

– Диссонансом прозвучало заявление, с которым на Пленуме выступил товарищ Ельцин Борис Николаевич. Он заявил, что не имеет замечаний по докладу и полностью его поддерживает, однако хотел бы затронуть ряд вопросов, которые у него накопились за время работы в составе Политбюро. Следует сказать, что в целом выступление товарища Ельцина было политически незрелым, крайне запутанным и противоречивым. Выступление не содержало ни одного конструктивного предложения и строилось не на анализе и фактах, а на передержках, и по сути, как расценили его члены ЦК, было демагогическим по своему содержанию и характеру.

...Разумеется, сам по себе факт выступления члена Центрального Комитета на Пленуме с критическими замечаниями в адрес Политбюро, Секретариата, отдельных товарищей не должен восприниматься как нечто чрезвычайное. Это нормальное дело... Мы и дальше будем развивать критику и самокритику на всех уровнях.

Мне бы очень хотелось прокомментировать эту фразу Горбачёва относительно критики и самокритики в партийном руководстве, но думаю, что об этом ещё скажут другие. Не будем же пока мешать Генсеку продолжать.

– ...намерение товарища Ельцина подать в отставку мне было известно до Пленума ЦК. Еще, будучи в отпуске, я получил от него письмо, в котором содержалась просьба решить вопрос о его пребывании и в составе Политбюро, и на посту первого секретаря Московского городского комитета партии.

Так вот в чём дело? Оказывается, Горбачёву давно было известно о желании Ельцина выйти не только из Политбюро, но и уйти от руководства городским комитетом. Почему же Ельцин о последнем сам не сказал на Пленуме ЦК? Но вопрос пока риторический. Продолжаем слушать Горбачёва.

– После возвращения из отпуска у меня был разговор с товарищем Ельциным, и мы условились, что сейчас не время обсуждать этот вопрос, что встретимся и всё обговорим после октябрьских праздников. Тем не менее, товарищ Ельцин (*прошу обратить внимание и на постоянное слово “товарищ”*), нарушив партийную и чисто человеческую этику, решил поставить этот вопрос непосредственно перед Пленумом, минуя Политбюро.

... Естественно возникает вопрос: почему так произошло? В чём причины такого поведения товарища Ельцина?

Но я позволю себе добавить к этому вопросу ещё один: В чём причина такого поведения и самого Горбачёва? А вопрос это возникает вот почему. Года через два после этих событий Ельцин выпустил свою книжку под названием “Исповедь на заданную тему” и вот что он там писал в редакции верного помощника Юмашева:

“По сути, последний, как говорят в театре, третий звонок прозвенел для меня на одном из заседаний Политбюро, где обсуждался проект доклада Горбачёва, посвящённого 70-летней годовщине Октября. Нам, членам, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК, его раздали заранее. Было дано дня три для внимательного его изучения.

Обсуждение шло по кругу, довольно коротко. Почти каждый считал, что надо сказать несколько слов. В основном оценки были положительные с некоторыми непринципиальными замечаниями. Но когда очередь дошла до меня, я достаточно напористо высказал около двадцати замечаний, каждое из которых было очень серьёзным. Вопросы касались и партии, и аппарата, и оценки прошлого, и концепции будущего развития страны, и многого другого.

Тут случилось неожиданное: Горбачёв не выдержал, прервал заседание и выскочил из зала. Весь состав Политбюро и секретари молча сидели, не зная, что делать, как реагировать. Это продолжалось минут тридцать. Когда он появился, то начал высказываться не по существу моих замечаний по докладу, а лично в мой адрес. Здесь было всё, что, видимо, у него накопилось за последнее время. Причём форма была явно критическая, почти истерич-

ная. Мне всё время хотелось выйти из зала, чтобы не выслушивать близкие к оскорблению замечания.

Он говорил и то, что в Москве всё плохо, и что все носятся вокруг меня, и что черты моего характера такие сякие, и что я всё время критикую и на Политбюро выступаю с такими замечаниями, и что он трудился над этим проектом, а я, зная об этом, тем не менее позволил себе высказать такие оценки докладу. Говорил он довольно долго, время я, конечно, не замечал, но, думаю, минут сорок.

Безусловно, в этот момент Горбачёв просто ненавидел меня. Честно скажу, я не ожидал этого. Знал, что он как-тоотреагирует на мои слова, но чтобы в такой форме, почти как на базаре, не признав практически ничего из того, что было сказано!.. Кстати, многое потом в докладе было изменено, были учтены и некоторые мои замечания, но, конечно, не все.

Остальные тихо сидели, помалкивали и мечтали, чтобы их просто не заметили. Никто не защитил меня, но никто и не выступил с осуждением. Тяжёлое было состояние. Когда он кончил, я всё-таки встал и сказал, что, конечно, некоторые замечания я продумаю, соответствую ли они действительности, то, что справедливо, – учту в своей работе, но большинство упреков не принимаю. Не принимаю! Поскольку они тенденциозны, да ещё высказаны в недопустимой форме.

Собственно, на этом и закончилось обсуждение, все разошлись довольно понурые. Ну а я тем более. И это было началом. Началом финала. После этого заседания Политбюро он как бы не замечал меня, хотя официально мы встречались минимум два раза в неделю: в четверг – на Политбюро и ещё на каком-нибудь мероприятии или совещании. Он старался даже руки мне не подавать, молча здоровался, разговоров тоже не было.

Я чувствовал, что он уже в это время решил, что надо со мной всю эту канитель заканчивать. Я оказался явным чужаком в его послушной команде”.

Вот ведь какие признания были у Ельцина. Почему же тогда, сразу же после злополучного заседания Политбюро, а не Пленума ещё, Горбачёв не расстался с Ельциным? Ведь плёвое дело для главы партии. И для чего Горбачёв выскочил из зала заседаний? Не выдержал проблемы аденомы и – в туалет, или не выдержали нервы, но не хотел показывать? А через тридцать минут накричал на непокорного члена Политбюро, который уже упреждал в своём письме о несогласии с политикой, но тут, согласившись с частью замечаний, всё же не принял их полностью. Как же мог он, генеральный секретарь, после всего этого, когда даже руки не подавал проклятому Ельцину, вдруг снова позволить выступить да на Пленуме, на который теперь собралось гораздо больше слушателей, благодаря чему каждое произнесенное слово крамолы невозможно было удержать в стенах партийного здания? А может, никто и не хотел удерживать крамолу? Может, дело совсем в другом?

Когда смотришь в лесу на кусты, то в их тени часто не замечаешь паутины, что схватила муху. И кажется, будто муха бьётся бессильно в воздухе. Ан нет, крепко держат её невидимые, но крепкие нити паутины. Что же за нити удерживали Горбачёва, какой паук заставлял его отступать перед начинающим переть против горы Ельциным?

Но проследим дальше за ходом истории. Подставим наши внимательные уши тому, что продолжал говорить Горбачёв о причинах оппозиционного выступления Ельцина.

– ...Бюро горкома под влиянием товарища Ельцина пыталось достичь необходимых изменений наскоком, нажимом, окриком, голым администрированием. А это, как известно, приём из старого арсенала.

... к тому же, втянувшись на начальном этапе в широковещательные заявления и обещания, что в значительной мере питалось его непомерным тщеславием, стремлением быть всегда на виду, товарищ Ельцин упустил, ослабил руководство городской партийной организацией, работу с кадрами.

Видя, что дело начало стопориться, обстановка в столице не улучшается, а в чём-то даже ухудшилась, товарищ Ельцин попытался переложить ответственность за собственные крупные недостатки в работе на других – и прежде всего на руководящие кадры. Горком партии по инициативе товарища Ельцина, при его самом активном участии, по сути дела, начал по второму кругу перетряску кадров, о недопустимости которой ему ранее говорили. На одном из заседаний Политбюро перед Январским пленумом ЦК он был предупреждён, что если за словами о перетряске скрывается его практический замысел в отношении Московской городской партийной организации, то он поддержки не получит. На это товарищ Ельцин отреагировал тогда правильно. Он сказал буквально следующее: “Я молодой человек в составе Политбюро. Мне преподнесен сегодня урок. Он мне нужен. Он не опоздал. И я найду в себе силы, чтобы сделать вывод”.

Однако должного вывода он так и не сделал.

Пленум ЦК КПСС принял следующее постановление:

1.

Признать выступление товарища Ельцина Бориса Николаевича на Октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК политически ошибочным.

2.

Поручить Политбюро ЦК КПСС, Московскому горкому партии рассмотреть вопрос о заявлении товарища Ельцина Бориса Николаевича об освобождении его от обязанностей первого секретаря МГК КПСС с учётом обмена мнениями, состоявшимися на Пленуме ЦК КПСС.

На этом выступление Горбачёва закончилось. Не будем уточнять, взорвался ли зал аплодисментами. Прошу только внимательнейшим образом вслушаться в дальнейшие выступления. Что же скажут теперь уже бывшие соратники по партийной работе. Бывшие, так как всем стало ясно, что Ельцин теперь только бывший первый секретарь. Кем будет дальше, никто и не предполагал. Слушаем же.

Ф.Ф. Козырев-Даль – Когда меня утвердили председателем Московского Агропрома, я искренне верил в слова и обещания секретаря Московского городского комитета партии товарища Ельцина о поддержке в работе, а уже через десять месяцев был вынужден начать личное письмо товарищу Ельцину словами: “В связи с отсутствием всякой перспективы быть Вами принятым, вынужден и считаю долгом коммуниста обратиться к Вам письменно”.

... Не был я принят и после прочтения моего письма.

Ю.А. Прокофьев – Секретарь исполкома Моссовета – Есть люди, которые создают себе пьедестал своими делами, а есть люди, которые строят себе пьедестал, принижая тех, кто стоит рядом. Вот чем отличается позиция подлинного коммуниста от позиции Бориса Николаевича Ельцина. Для вас характерно всё время состояние борьбы. Вы всё время купаетесь в борьбе, напоре и натиске, всё время кого-то разоблачаете, и тогда вы на коне перед обывателем. И какие бы провалы ни случались, вы всё равно хорошо выглядите, потому что вы боролись, вы предупреждали, вы снимали с должности.

А если говорить о политической грамотности товарища Ельцина, то я был свидетелем его встречи с обществом “Память”. Что из себя представляет это общество, вы знаете.

Позволю себе сделать небольшое пояснение для тех читателей, кто, хоть и слышал о “Памяти”, но возможно не знает, что этот народно-патриотический фронт активизировал свою деятельность именно в период городского партийного лидерства Ельцина. Это движение возникло на стремлении защитить русских от всех остальных наций и в первую очередь от евреев.

Думаю, что мой всеведущий читатель согласится с тем, что русская нация всегда отличалась интернациональностью и радушием по отношению к любой национальности. Особенно это относится к советскому периоду, что, несомненно, связано с отношением к национальному

вопросу революционеров-коммунистов и в первую очередь, конечно, их лидера В.И. Ленина, который писал в 1922 году в своих записках “К вопросу о национальностях или об “Автономизации”:

“...Необходимо отличать... национализм большой нации и национализм нации маленькой.

По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы большой нации, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия, и даже больше того – незаметно для себя совершаем бесконечное число насилий и оскорблений, – стоит только припомнить мои волжские воспоминания о том, как у нас третируют инородцев, как поляка не называют иначе, как “полячишкой”, как татарина не высмеивают иначе, как “князь”, украинца иначе, как “хохол”, грузина и других кавказских инородцев, – как “кавказский человек”.

Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. ... ничто так не задерживает развития и упрочности пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость, и ни к чему так не чутки “обиженные” националы, как к чувству равенства и к нарушению этого равенства, хотя бы даже по небрежности, хотя бы даже в виде шутки, к нарушению этого равенства своими товарищами пролетариями. Вот почему в данном случае лучше пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем недосолить”.

Этого и придерживались партийные руководители и политагитаторы, не позволяя разжигание в стране межнациональной розни. Между тем идеи национально-патриотического фронта “Память”, ставя перед собой на первый взгляд хорошие цели развития и сохранения русской культуры и самобытности, по своей сути оказались шовинистическими и потому сразу не понравились великому множеству людей, как принадлежащих малым нациям, так и большой русской. Незадолго до описываемых партийных событий в Москве состоялся первый несанкционированный митинг общества “Память”. Он положил начало митингованию в Москве, а затем и по всей стране.

В прежние времена никакого митинга не допустили бы. Но я очень прошу читателя, не обвинять меня в выступлениях против демократии. Я за свободу слова, если это слово не направлено против народа. До появления общества “Память”, у нас в стране никто не имел права оскорблять или унижать какую бы ни было национальность. С появлением “Памяти” или чуть раньше такая возможность появилась, то есть наказывать и пресекать по-настоящему подобные явления перестали, и они начали расцветать, словно кому-то это нужно было.

Примером тому и явилась встреча участников несанкционированного митинга “Память” во главе с её первым лидером Васильевым с товарищем Ельциным, который не сумел или не хотел практически выставить ни одного контраргумента выступавшим, а лишь порекомендовал зарегистрировать официально общество у городских властей, что и было сделано. Именно об этом и говорил на Пленуме горкома партии секретарь исполкома Моссовета:

– Их (участников митинга “Памяти”) пригласили в Моссовет, и перед ними выступил товарищ Ельцин. И одну позицию за другой сдавал. Это кому? Кликушам и черносотенцам!

А какие восхваления допускались лично в ваш адрес на страницах “Московской правды”, – вы и прекрасный, и смелый, и чуткий... это же просто пропаганда себя.

А.И. Земсков – Первый секретарь Ворошиловского райкома партии:

– ...Это безобразие, когда в течение двух лет, по-моему, ни один первый секретарь райкома не мог напрямую позвонить секретарю горкома. В течение двух лет мы должны были

помощнику докладывать, зачем первый секретарь райкома хочет обратиться к первому секретарю горкома.

В.С. Семенихин – Генеральный конструктор НИИ, академик:

– ...Через восемь месяцев я пробился к нему (*Ельцину*) на приём и сказал, что члены горкома – это свадебные генералы, никакие вопросы с нами перед тем, как их выносить на Пленум, никто не обсуждает. Собирают нас раз в квартал. Я, например, ни разу не был за два года ни по одному вопросу на бюро горкома.

А.Н. Николаев – Первый секретарь Бауманского райкома партии (*Тот самый, которого Ельцин готов был снять на предыдущем бюро горкома*):

– ...Революционный характер перестройки очень чётко высвечивает, кто есть кто. Кто есть истинный лидер перестройки, кто есть политический боец, а кто стремится на волне перестройки решить свои амбициозные проблемы и достичь своих амбициозных целей. Очень быстро товарищ Ельцин обрёл тот самый начальственный синдром, против которого он гневно выступал на съезде партии. Вот разрыв между словами и реальными делами.

Ельцин слушал Николаева, скрипя зубами, и казалось, что все это слышат. Он даже посмотрел искоса на Горбачёва, слышит ли тот?

Нет, разумеется, с Горбачёвым у него всё пока складывалось нормально. И на двадцать седьмом съезде, о котором всуе упомянул Николаев, Ельцин выступил критически, но с согласия Горбачёва. Тогда у всех была установка в своих выступлениях делать критические замечания. Так что тогдашняя речь Ельцина была как бы прелюдией к его последующим действиям.

О, конечно, этот съезд был памятным. Своей критичностью он отличался резко от всех предыдущих. У Горбачёва были хорошие советники, которые доказали ему, что открытую критику можно позволять, как делается в ведущих капиталистических странах. Там сколько ни критикуй президента, он всё равно будет делать по-своему, но выглядеть при этом демократом. Так, собственно, и стал поступать Горбачёв, объявив гласность всеобщей политикой. Люди шумят себе, пар выпускают, а делать-то ничего и не делают. Но все довольны, что смелыми стали.

Ельцин должен был показать пример и показал. Правда, выйдя на трибуну, знал, что всё должно быть в пределах определённых рамок, потому в заготовленном заранее выступлении начало было бравурным, как и у всех выступавших на съезде, но в то же время отличалось оригинальностью:

– Товарищи! На одном из съездов партии, где были откровенные доклады и острые обсуждения, а затем делегаты выразили поддержку единства, Владимир Ильич Ленин наперекор скептикам с воодушевлением воскликнул: “...вот это я понимаю! Это – жизнь!” Много лет минуло с тех пор. И с удовлетворением можно отметить: на нашем съезде снова атмосфера того большевистского духа, ленинского оптимизма, призыва к борьбе со старым, отжившим во имя нового.

Слова понравились, и зал зааплодировал. Все вдруг с удовольствием почувствовали свою сопричастность к ленинскому времени. Начало получилось эффектным, и Ельцин продолжал теперь уже о дне сегодняшнем:

– Апрельский, тысяча девятьсот восемьдесят пятого года Пленум ЦК КПСС, подготовка к Двадцать седьмому съезду, его работа идут как бы по ленинским конспектам, с опорой на лучшие традиции партии. Съезд очень взыскательно анализирует прошлое, чётко намечает задачи на пятнадцать лет и даёт далёкий, но ясный взгляд в будущее.

... мы, делегаты съезда от миллиона и ста двадцати тысяч коммунистов города (мне поручили это сказать), заверяем Центральный Комитет, что за словом последует дело. Таков наш долг, так требует время, так требует наша партийная совесть.

И снова звучат аплодисменты в ответ на эмоциональные короткие рубленые фразы. Перечень успехов – это обычно дело техники и мало кем слушается. Но главная заготовка на сегодня – негатив. Его надо преподнести особенно чётко, как свои собственные мысли и так, чтоб все уснувшие было, проснулись и разнесли завтра слова Ельцина по всему городу и стране. Негатив пошёл:

– Хочу откровенно высказать беспокойство по ряду вопросов. Много возникает “почему”. Почему из съезда в съезд мы поднимаем ряд одних и тех же проблем? Почему в нашем партийном лексиконе появилось явно чужое слово “застой”? Почему за столько лет нам не удаётся вырвать из нашей жизни корни бюрократизма, социальной несправедливости, злоупотреблений?

Что вы, что вы, милый читатель? Только не думайте, что выступавший с такими словами был совсем уж глуп и не смог бы сам ответить на эти вопросы правильно, будто он не знал, что бюрократизм и социальное неравенство существуют сотни, а последнее даже тысячи лет, а потому устранить их за какие-то семьдесят лет являлось чрезвычайно трудной задачей. Конечно, Ельцин это знал, но в тот момент, как, впрочем, и во все последующие, для него важна была не суть вопроса, а суть его произнесения с целью создания впечатления борца за народное благо, чтобы выглядеть защитником народа, его верным заступником, а потому он уверенно продолжал свой трибунный монолог:

– Почему даже сейчас требование радикальных перемен вязнет в инертном слое приспособленцев с партийным билетом? Моё мнение: одна из главных причин – нет у ряда партийных руководителей мужества своевременно, объективно оценить обстановку, свою личную роль, сказать пусть горькую, но правду, оценивать каждый вопрос или поступок – и свой, и товарищей по работе, и вышестоящих руководителей – не конъюнктурно, а политически.

Какая глубокая мысль? Поди, докажи, что Ельцин не прав и все партийные руководители имеют мужество своевременно и объективно оценить обстановку. Докажешь это, так он спросит, а как насчёт своей личной роли? Докажешь, что и это учли, а он спросит относительно горькой правды. Найдёшь и её в оценке руководителей, так появится вопрос об оценке поступков своих, товарищей и вышестоящих руководителей да ещё не просто как-нибудь конъюнктурно, а политически. С таким набором политических талантов можно ни одного руководителя не найти, да и сам Ельцин вряд ли подошёл бы, что он сам вскоре и подтвердит в своей речи. Но сначала ему важно обругать других и даже конкретно одного, чьё имя он пока боится открыто называть, но подкоп под него начал, вынося на обсуждение свои конкретные предложения по улучшению работы центрального аппарата партии:

– Остро необходимы укрепление и повышение роли отдела организационно-партийной работы. Да, видимо, в новых условиях назрела необходимость и изменения структуры аппарата Центрального Комитета партии в целом.

Ельцин хорошо помнил, что этот тезис вызвал продолжительные бурные аплодисменты. Не все сидящие в зале поняли, что Ельцин намекал на Лигачёва. Но аплодировали все, кто за компанию, кто потому, что сам бюрократический аппарат ЦК ему осточертел с его указаниями и постановлениями. Следующий тезис Ельцина был ещё конкретней:

– ...отдел организационно-партийной работы явно перегружен. Чем он только ни занимается – и вагоны, и корма, и топливо. Всё, конечно, важно. И всё же важнее всего кадры. А как раз эта работа была упущена. Партийные кадры в отделе знали плохо. Контроль за их работой осуществлялся слабо. Вовремя принципиальной оценки многим не давалось. А иначе чем объяснить те провалы, которые допущены в ряде партийных организаций областей, краёв

и республик страны? Неужели в ЦК КПСС никто не видел, к чему идут дела в Узбекистане, Киргизии, ряде областей и городов, где шло, прямо скажем, перерождение кадров?

Тут уж, дорогой читатель, Ельцин чётко указывал на Лигачёва и всем своим видом кричал: “Да что вы, не видите? Снимите же его скорее и поставьте меня на его место, а уж я не растеряюсь и скоренько самого Горбачёва скину”.

Не знаю, слышал ли кто его внутренний крик, а только в данный момент Горбачёву очень было приятно это слышать. Дело в том, что у многих правителей, главным способом сохранения своей власти является сталкивание лбами тех, кто находится поблизости от этой самой власти. Они передерутся между собой, наставят синяков да шишек, как куклы марионетки, а самого кукольника снять-то и не смогут.

Ельцин втайне рассчитывал на то, что Горбачёв услышит и поймёт только первую часть крика его души, а потому постарался придать глобальность своим замечаниям:

– И вполне правомерно связать спады в темпах экономического развития страны в течение последних пятилеток с руководством партии и государства. Ошибки отдельных лиц слишком дорого обходятся стране, авторитету партии и социализму в мире.

Вот, оказывается, о чём пёлся первый секретарь Московского горкома партии – о партийном авторитете и мировом социализме. Вот что он стремился сохранить на века. Правда, никаких конкретных ошибок и конкретных виновников он так и не назвал, но мы же давно заметили, что для Ельцина главным было лишь обозначить задачу, а не решить её. Хотя попытку предложить будто бы что-то конкретное он сделал, продолжая тему об экономическом спаде в стране:

– Как этого избежать? Лекарство есть – контроль каждого постоянно сверху и снизу, причём не формальный. Сделать скромность культом в работе и поведении, замечать, не допускать даже начинающийся начальственный синдром в отношениях с людьми.

Вот то, что вызвало зубную боль от слов Николаева. “Начальственный синдром”. Да разве не знал Ельцин, что ему и дня не прожить без этого начальственного синдрома? Да он с детства привык терпеть сначала бесконечные побои отца, потом мальчишек, с которыми дрался до потери сознания. Хулиганить Борька Ельцин любил всегда. И оторванный палец на руке никак не производственная травма, а результат мальчишеской шалости с взрывчаткой. Дело давнее могло кончиться и колонией, но обошлось, хоть и не без труда. Так вот эта трудная жизнь хулигана приучила к начальственному тону, который закрепился с приходом на руководящую работу сначала в строительстве, а потом и в партии. Ну не выдерживали, уходили от его окриков, кто мог, остальные работали. И никогда не понимал Ельцин, как можно руководить без начальственного синдрома. А что сам говорил об этом на съезде, так ведь это же реклама и надо понимать. Можно ли без начальственного окрика добиться того, о чём он говорил дальше на съезде?

– Резко повысить требовательность, спрос, дисциплину. Давать принципиальные, пусть иногда жёсткие, оценки положению дел и работе лично каждого руководителя, этим помогая им оставаться настоящими партийцами и на работе, и наедине со своей совестью.

Непререкаемость авторитетов, непогрешимость руководителя, “двойная мораль” в сегодняшних условиях – нетерпимы и недопустимы. Должна быть, наконец, выработана в ЦК КПСС система периодической отчётности всех руководителей и на всех уровнях. Считаю, что это должно касаться и отчётов секретарей ЦК КПСС на Политбюро или пленумах Центрального Комитета партии.

Любопытно, что Ельцин говорил этот тезис так, словно он не был записан в Уставе коммунистов в параграфе о принципах демократического централизма, то есть подчинение ниже-

стоящих вышестоящим и отчётность вышестоящих перед нижестоящими. Но Ельцин не подумал об этом и задаёт сакраментальный вопрос, чтобы своим ответом слегка побичевать себя, но при этом оказаться героем демократии:

– Делегаты могут меня спросить: почему же об этом не сказал, выступая на Двадцать шестом съезде партии? Ну что ж. Могу ответить, и откровенно ответить: видимо, тогда не хватило смелости и политического опыта.

Вот, эффект достигнут – все заплодировали. Геройство самокритичности принято. Это не важно, что другие могут так же сказать, что у них сегодня нет ни смелости, ни политического опыта, как у Ельцина на предыдущем съезде, и тем самым оправдать себя. Важно, что он сегодня герой.

– Товарищи!

Читатель, прошу обратить особое внимание на тезис, к которому приступил в этой части своей съездовской речи Ельцин. Этот тезис будет краеугольным камнем всех его выступлений на массовых митингах и демонстрациях, во всех листовках и плакатах, будет рабочей лошадкой, вывозящей удачливого седока на вершину горы, но не окажется, к сожалению, принципом жизни.

– В докладе убедительно прозвучал раздел о значении социальных факторов. Продолжая тему, хотел бы добавить один момент. Наверняка делегатам приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с вопросами социальной справедливости. Обсуждаются они всегда остро, так как затрагивают большой круг самых жизненных интересов человека. Неуютно чувствуешь, слушая возмущение любыми проявлениями несправедливости сегодняшней или уже застарелой. Но особенно становится больно, когда говорят об особых благах для руководителей. Если коммунист-руководитель теряет свои необходимые качества: справедливость, партийную скромность, полную самоотдачу, – использует блага не по труду, то, выражаясь словами Ленина, это “нарушает демократизм и является источником разложения партии и понижения авторитета коммунистов”, чего допустить мы не можем. Поэтому моё мнение – там, где блага руководителей всех уровней не оправданы, их надо отменить.

Да, Ельцин много надежд возлагал на это своё выступление. Но оно не стало большой сенсацией и не принесло тогда желаемой славы. Ведь многое из того, что он сказал было, быть может, в более мягкой форме и у Горбачёва в докладе. Однако Членом Политбюро и секретарём ЦК Ельцина избрали. Что и требовалось на том этапе. Зато теперь вот приходится выслушивать от каких-то секретарей всего лишь райкомов партии критику в свой адрес о том, что он де сам не делает того, чему поучал других. Скрепя сердце, Ельцин продолжал слушать выступление бывшего подчинённого Николаева. А он смело говорил:

– ...Могут сказать, что Борис Николаевич побывал на десятках предприятий и в организациях города. Да, такие встречи были, но ведь они носили чисто экскурсионный характер. Замыкалось всё только демонстративным эффектом, прохождением через цехи, лаборатории и так далее.

Вместо анализа укоренилось в городском комитете партии формирование досье, куда усердно тащили негативный медок в папку товарища Ельцина, после чего этот медок выливался в хлёсткие продолжительные речи на пленумах горкома, которые лишь деморализовали партийный актив, вносили растерянность, неуверенность, неопределённость. Это сопровождалось кадровой чехардой. Мы потеряли много преданных опытных людей, причём некоторых невозвратно, и это на совести товарища Ельцина.

Николаева сменяли другие ораторы.

А.С. Елисеев – ректор МВТУ имени Н.Э. Баумана:

– По-моему, после того, что мы слышали, мы можем сойтись на том, что Борис Николаевич Ельцин допустил грубую политическую ошибку, после которой ему нельзя оставаться секретарём, руководителем Московской партийной организации, нельзя быть в Политбюро, в руководящих партийных органах. Слишком велика ошибка.

Я считаю, что происшедшее должно стать для каждого из нас большой школой. Не допускаем ли мы похожие ошибки, нет ли у нас частички авторитарного стиля руководства, всегда ли мы умеем советоваться с товарищами?

Я, между прочим, как член горкома, не стал бы полностью отмежёвываться от Бориса Николаевича в его вине. Я участвую в работе пленумов горкома партии и не слышал похожих на сегодняшние выступления. Пусть наполовину менее резких, пусть в три раза менее резких. Мы где-то начинаем терять принципиальность. Давайте набираться смелости говорить вовремя, и тогда мы будем избегать таких ошибок.

В.А. Желтов – Первый секретарь Красногвардейского райкома:

– Заявление, которое было сделано товарищем Ельциным, фактически сыграло на руку противникам. Цитируют и берут в качестве знамени. Худшей характеристики ни один коммунист себе не может пожелать.

Да если бы знал этот самый Желтов, в какую точку он попал своими словами. Именно об этих цитатах и побольше мечтает сейчас Ельцин. Чем больше цитат да в зарубежной прессе, тем лучше сидеть опальному Ельцину на коне славы.

В.В. Скитев – Заведующий отделом организационно-партийной работы Московского горкома партии:

– Должен признаться, что работать с Борисом Николаевичем в качестве заведующего отделом – это, знаете, истязание. Потому что всегда над тобой довлело требование табели о рангах: требование многочисленных немотивированных замен тех или других руководителей.

...Я не хочу снимать с себя ответственность за происшедшее. Но работать было очень сложно. Орготдел превратился по существу в управление по обслуживанию дипломатического корпуса. Он был подчинён сочинению бумаг для различного рода выступлений, бесконечных речей.

А.М. Ларионов – Начальник главного управления профтехобразования Москвы:

– Два года назад первые шаги товарища Ельцина вселяли надежду и оптимизм. Но постепенно возникал ряд вопросов. Мне до сих пор не ясны принципы, которыми руководствовался Борис Николаевич в подборе кадров. Он заменил двадцать два секретаря райкомов партии, порой просто расправлялся с товарищами. Вызывают из отпуска за неделю до окончания и говорят, что будет собеседование по проблемам района. Вместо этого тебя начинают, как в тёмной комнате, по очереди гонять по кругу, ставить в вину просто неожиданные моменты. Здесь, кстати, только что выступил товарищ Скитев, но ведь именно он лично этим занимался. Может быть, его заставляли, я не знаю, но мужества возразить он не набрался.

Видимо, следует оценить персонально и роль каждого члена бюро горкома партии. Ведь товарищи могли бы, наверное, и в Центральный Комитет партии пойти, здесь недалеко.

“Я бы им пошёл, – подумал Ельцин. – На другой же день вылетел бы из горкома”.

В.А. Васильев – Первый секретарь Первомайского райкома партии:

– На словах осуждалась непререкаемость авторитетов, непогрешимость руководителя, а на деле утверждался авторитарный, откровенно недопустимый в партийном органе стиль работы, особенно в решении кадровых вопросов.

Начали работать, как бы образно говоря “под колпаком”. Потеряли чувство уверенности. Бесчисленные комиссии приходили в самый ответственный момент. Выкапывался, выцарапывался, добывался многочисленный справочный материал, причём такой, который бы опорочил

работу партийной организации, первичных партийных организаций, районного комитета партии и других организаций района.

Н.Е. Киселёв – Первый секретарь Свердловского райкома партии:

– Я хочу сказать, что очень многие из нас, в том числе и я, становимся смелыми задним числом. Атмосфера бюро городского комитета партии не была такой гладкой, в последний период она была явно беспокойной.

В.В. Виноградов – Первый секретарь Советского райкома партии:

– Товарищи, я не могу отнести себя к числу обиженных. Я один из небольшого количества секретарей, которые давно работают в городской партийной организации и которых, по статистическим данным, осталось немного.

Есть у товарища Ельцина положительные качества. Это и явилось основанием того, что он стал секретарём обкома партии в Свердловске, секретарём горкома в Москве.

...И мне думается, что не совсем правильно говорить сегодня о том, как это делают секретари горкома, что это была неожиданность, какая-то растерянность. Взрыв-то назревал, и основа его – амбициозность товарища Ельцина, его жёсткость, а не твёрдость, его неумение прислушиваться к людям.

Он критиковал Центральный Комитет партии за отсутствие демократизма, а ему дали возможность на Пленуме ЦК выступить. Значит, там была создана обстановка для того, чтобы можно было даже абсолютно демагогические заявления, с которыми он вышел, произносить. А могли ли мы выступить открыто? По многим вопросам набирали в рот воды, и даже болевые ощущения, зажав зубами губы, переносили.

Какие методы использовались? Весь район переворачивали и искали, какой Виноградов плохой, а я семнадцать лет на выборной партийной и советской работе. Меня пленум избрал.

У меня терпения не хватило, и я пошёл ко второму секретарю горкома партии товарищу Белякову и откровенно сказал: “Или снимите, или прекратите экзекуцию”. Прекратили. Вроде бы на последнем пленуме даже похвалили район.

Оторвался Борис Николаевич от нас, да он и не был с нами в ряду. Он над нами как-то летал. Он не очень беспокоился о том, чтобы мы в едином строю, взявшись за руки, решали большое дело.

Я не могу никак и сегодня понять, как Борис Николаевич, приехав в район на отчётно-выборное собрание в цеховую организацию, сделал так, чтобы я туда попасть не смог. И мне товарищ Скитев так и не мог объяснить, почему я туда не попал.

Конечно, Борис Николаевич подкупил москвичей своей мобильностью, моторностью, он очень много ездил, много контактировал с людьми. Но мне представляется, что он в этих поездках больше заботился о личном авторитете, чем авторитете горкома. И почему такое пренебрежение к первым секретарям райкомов? Почти у каждого ярлык. Нам приходилось, извините за резкость, очень часто отмываться от тех оценок, которые давались нам, первым секретарям райкомов партии. Даже участковым инспекторам предоставлялось право следить за нами, говорилось о нас, если они, сукины сыны, что-нибудь натворят, смотрите.

Борис Николаевич, работнику вашего уровня нельзя только ради игры на аудиторию бросаться такими формулировками.

Я в заключение хотел бы сказать, что очень переживаю за поступок товарища Ельцина. Это тяжёлый удар. Это суровая школа для нас, для всех. Но мне хотелось бы заверить сегодня Центральный Комитет партии, Политбюро и присутствующих здесь руководителей партии, что уж если мы в тяжёлое и трудное время выстояли, то, распрямившись в единстве и монолитности, можем сделать очень многое и сделаем обязательно.

Но вот пришло время выступать и самому Ельцину. Сколько раз уже ему приходилось оправдываться за свои слова на том Пленуме? Но ведь не скажешь же “Да ну, вас всех к чёрту!

Я вам ещё покажу. Узнаете вы кто такой хулиган Ельцин”. Нет, так, конечно, говорить нельзя, хоть и хочется. Но приходится терпеть назидания каких-то райкомовских секретаришек, сукиных сынов, как правильно отметил Виноградов. Ну, ничего, они у меня ещё попляшут, а пока придётся сдерживать гордыню и ответить так, чтобы не навлечь гнева Горбачёва, так, чтобы не выглядеть потом смешным у журналистов, так, чтобы не было ясно, признаёт он свою вину или остаётся убеждённым борцом. Руководству будет говорить потом, что он же каялся, а простому люду надо показать, что он остался его героем и защитником. Так думалось, выходя на трибуну, когда и обращения к залу подходящего не нашлось, пришлось начинать без всякого обращения, так сказать, ни к кому конкретно.

Б.Н. Ельцин:

– Я думаю, нет необходимости давать здесь себе оценку, поскольку мой поступок непредсказуем. Я и сегодня, и на Пленуме Центрального Комитета, и на Политбюро, и на бюро горкома, и на нынешнем пленуме много выслушал того, что я не выслушал за всю свою жизнь. Может быть, это и явилось в какой-то степени причиной того, что произошло.

Ой, лукавит Ельцин, дорогой читатель, явно лукавит. Ну, как могут быть причиной того, что уже произошло, слова, сказанные после происшедшего? Тут какая-то путаница. И потом, о какой непредсказуемости идёт речь? Всё ведь шло по плану, всё рассчитано. Другое дело, что партнёр по шахматам не всегда делает предполагавшийся ход. Ну не удалось одолеть сразу Лигачёва, так ведь борьба ещё не закончена и всё впереди, ведь так? Не отпирайтесь. Но не будем забегать вперёд. Слушаем дальше Ельцина.

– Я только хочу здесь твёрдо заверить и сказать, Михаил Сергеевич (*чуть не сорвалось “дорогой Михаил Сергеевич”, но это было бы уже слишком*), вам и членам Политбюро и секретарям ЦК, здесь присутствующим, и членам горкома партии, всем тем, кто сегодня на пленуме горкома, первое: я честное партийное слово даю, конечно, никаких умыслов я не имел, и политической направленности в моём выступлении не было. Второе: я согласен сегодня с критикой, которая была высказана (*понимаешь, читатель, сегодня он согласен, а что будет завтра, покажет время?*). Наверное, товарищ Елисеев сказал правильно – если бы это было раньше, то было бы на пользу.

Ну вот, дело-то оказывается только во времени, а не в том, что сказано. Что же тогда такой сыр-бор развернули? Ну, ошибся слегка – утреннюю гимнастику сделал не утром, а в обед, не умирать же от этого?

– Я должен сказать, что я верю, убеждён по партийному абсолютно твёрдо в генеральную линию партии и в решения Двадцать седьмого съезда. Я абсолютно убеждён в перестройке и в том, что как бы она трудно ни шла, она всё равно победит. Другое дело, что она, и в этом всегда действительно у нас были разные нюансы её оценок, она по разным регионам и даже по разным организациям идёт по разному. Но, конечно, я в перестройку верю, и здесь не может быть никаких сомнений. Я перед вами, коммунистами, проработавшими два года вместе в партийной организации, заявляю абсолютно честно. И любой мой поступок, который будет противоречить этому моему заявлению, конечно, должен привести к исключению из партии.

Любопытно знать, о вере, в какую именно перестройку клялся вплоть до своего исключения из партии Ельцин, если на Пленуме ЦК он говорил: *“Я думаю, что то, что было сказано на съезде в отношении перестройки за 2-3 года – 2 года прошло или почти проходит, сейчас снова указывается на то, что опять 2-3 года, – это очень дезориентирует людей, дезориентирует партию... Сначала был сильный энтузиазм – подъём. ... Затем, после июньского Пленума ЦК, стала вера как-то падать у людей”* и так далее? А сейчас он говорит:

– В начале прошлого года я был рекомендован Политбюро и избран здесь на пленуме первым секретарём горкома партии, сформировалось бюро. И надо сказать, бюро работало очень плодотворно. Сформировался исполком Моссовета, в основном я имею в виду председателя, его заместителей, которые, конечно, и это отмечали многие, стали заниматься конкретной работой.

Я что-то не понимаю, не знаю как вы, дорогие читатели, разве до этого в Моссовете не занимались конкретной работой? За что же им платили деньги и неплохие притом? Почему только сформированный Ельциным исполком стал заниматься, как он говорит, “конкретной работой”? Или только гений Ельцина может заставить людей выполнять конкретную работу?

– Но, начиная примерно с начала этого года, я стал замечать, что у меня получается плохо. Вы помните, мы на пленуме городского комитета партии говорили о том, что нужно каждому руководителю, если у него не получается, всегда честно сказать, прийти и честно сказать в свой вышестоящий партийный орган, что у меня не получается.

Но здесь, конечно, была тоже тактическая ошибка. Видимо, это было связано с перегрузкой и прочим. Но оно действительно стало получаться у меня, я не могу сказать про всё бюро, стало получаться в работе хуже. Сегодня, пожалуй, наиболее чётко это выразилось в том, что легче было давать обещания и разрабатывать комплексные программы, чем затем их реализовывать. Это, во-первых. И, во-вторых, сработало одно из главных моих личных качеств – это амбиция, о чём сегодня говорили. Я пытался с ней бороться, но, к сожалению, безуспешно.

А что ж тогда Ельцин морочил всем голову на Пленуме ЦК? В известной басне Крылова говорится, что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Так ведь Ельцин на Пленуме ЦК причиной своей отставки выставил другое. Вспомните его слова: *“Я должен сказать, что ... ничего не изменилось с точки зрения стиля работы Секретариата ЦК, стиля работы товарища Лигачёва. ...Видимо у меня не получается в работе в составе Политбюро. Видимо, и опыт, и другое, может быть, просто и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Лигачёва, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро”*.

Почему же Ельцин не говорил там о том, что плохо получается с работой в горкоме? И почему вдруг не получалось в горкоме у бывшего секретаря Свердловского обкома? Нет, лукавил Ельцин, несомненно, лукавил. Вот насчёт тактической ошибки, тут он прав и просто проговорился. Дело было именно в его собственной тактической ошибке, просчёте, который он теперь старался исправить изо всех сил и потому продолжал говорить:

– Главное сейчас для меня, как для коммуниста Московской организации, – это, конечно, что же всё-таки сделать, какое решение принять, чтобы меньше было ущерба для Московской организации. Конечно, ущерб он есть, и ущерб нанесен, и трудно будет новому первому секретарю городского комитета партии, бюро и городскому комитету партии сделать так, чтобы вот эту рану, которая нанесена, этот ущерб, который нанесен, и не только Московской организации, чтобы залечить её делом как можно быстрее.

Я не могу согласиться с тем, что я не люблю Москву. Сработали другие обстоятельства, но нет, я успел полюбить Москву, и старался сделать всё, чтобы те недостатки, которые были раньше, как-то устранить.

Эти слова Ельцину очень нужно было сказать, чтобы, ненароком, не приняли решение в ЦК отправить его обратно в глубинку, в Свердловск или ещё куда подальше, где труднее будет связываться с корреспондентами, организовывать массовые протесты в свою поддержку. Всё просчитывалось заранее.

– Мне было сегодня особенно тяжело слушать тех товарищей по партии, с которыми я работал два года, очень конкретную критику, и я бы сказал, что ничего опровергнуть из этого не могу.

И не потому, что надо бить себя в грудь, поскольку вы понимаете, что я потерял, как коммунист, политическое лицо руководителя. Я очень виновен перед Московской партийной организацией, очень виновен перед горкомом партии, перед вами, конечно, перед бюро и, конечно, я очень виновен лично перед Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, авторитет которого так высок в нашей организации, в нашей стране и во всём мире.

И я, как коммунист, уверен, что Московская организация едина с Центральным Комитетом партии, и она очень уверенно шла и пойдёт за Центральным Комитетом партии.

Читатель мой, смотрите как мастерски Ельцин начал за упокой, а кончил за здравие. Действительно есть чему поучиться. Из концовки его выступления можно понять, что он очень даже хороший коммунист – уверен в единстве и монолитности партии, осознал свою вину не только перед товарищами, но и лично перед Михаилом Сергеевичем Горбачёвым. Не назвал он, правда, Лигачёва. То ли не смог пересилить себя, чтобы извиниться заодно и перед ним, ведь тот тоже принимал участие в приглашении Ельцина из Свердловска в Москву, но вряд ли упоминание имени Лигачёва понравилось бы шефу Горбачёву. Игра должна была вестись очень тонко. Зато не забыл Ельцин сказать и о высоком авторитете своего начальника. Ну, чем не петух из другой басни Крылова? И результат немедленно сказался. Послушайте, чем ответила кукушка в виде Горбачёва на такие слова петуха– Ельцина, дружески обращаясь к нему на ты:

М.С. Горбачёв – Генеральный секретарь ЦК КПСС:

– ...Лично я переживаю за то, что произошло. Ведь у меня были беседы с Борисом Николаевичем Ельциным. Причём, острые, откровенные, один на один.

Должен сказать, Борис Николаевич, помешали тебе амбиции твои, очень помешали. Накануне январского Пленума и на самом Пленуме ЦК мы тебя поправляли основательно. Накануне июньского Пленума опять был разговор.

Хочу поддержать товарищей, которые говорили о положительных сторонах в работе Бориса Николаевича Ельцина. Но всё-таки политически он оказался не на высоте, ему не по силам возглавлять такую парторганизацию, какой является Московская городская.

Ну и что же, дорогой читатель? Вы же понимаете, что не мог Горбачёв после таких событий бросить Ельцина на произвол судьбы. Министерский портфель в Госстрое вполне мог отвечать его промежуточному положению, когда вроде бы и отстранённый от политики человек в то же время облечён приличной властью, а главное возможностью принимать корреспондентов советских и зарубежных средств массовой информации, иметь персональную машину, кабинет и хорошую зарплату, словом, иметь всё для подготовки создания своего нового имиджа для нового появления на политической арене. Но это позже, а пока...

Промозглая осень перемежала дожди со снегом и лёгкие заморозки с короткими оттепелями. Обыватели прилипали к телевизорам, как когда-то к передачам популярного “Новогоднего огонька” или “Кабачка тринадцать стульев”, так теперь к вещаниям экстрасенсов Кашпировского и Чумака, с удивлением узнавали из телевизионных программ о существовании потусторонних сил, могущих предсказывать будущее не только отдельным личностям, но и целой стране. На экране вдруг появлялось, правда, после заблаговременного предупреждения о предстоящем чуде, изображение то ли тени, то ли фигуры, будто бы пришедшей из космоса, тщательно прикрытой полупрозрачной перегородкой, которая чревовещала о предстоя-

щих изменениях в стране, сулящих благосостояние в случае сохранения существующего главы государства.

Или какие-то молодые особы, сильно напоминающие недвусмысленных девиц с улицы, пытались доказать телезрителям, что они слышат в своей комнате голоса каких-то невидимых духов, с которыми могут даже разговаривать. Можно было бы принять передачу за шутку, но ведущий программы, поднося микрофон к девицам, делал серьёзный вид и заверял телезрителей в том, что тоже начинает что-то слышать.

Если эти единичные, сомнительной честности передачи проходили для зрителей почти незаметно, то Кашпировский и Чумак породили собой целую индустрию последователей, которых не всегда допускали к появлению на телеэкранах, но которые довольствовались успешно сбором денег на массовых встречах в клубах заводов, фабрик, колхозов и других всё ещё доверчивых предприятий, где уверяли бесхитростных слушателей в необыкновенной пользе их шаманства для здоровья, которое может поправиться чуть ли не от одного взгляда на экстрасенса.

Кашпировский побил все рекорды, организовав целое теле представление с оказанием помощи в операции на человеке, находящемся за тысячу километров от всемогущего целителя. В ответ на это Чумак заявил, что зарядил своей чудодейственной силой весь тираж одной из московских газет, благодаря чему, каждый её купивший, будет здоров и счастлив.

Скажи об этом кому-нибудь лет пять назад, засмеяли бы и не поверили, что такое могут показать по центральному телевидению. Теперь показывали регулярно и миллионы людей прилипали к маленьким светящимся экранам-лгунчикам, чтобы ещё раз услышать мастерский голос и артистически талантливые глаза Кашпировского с тем только, чтобы лишний раз убедиться, в том, что ломота в спине после его сеанса не прошла, ногу, как крутило перед дождём, так и крутит, а любить, как не могло вчерашнее, так и не может сегодня.

И можно было бы удивляться, да и удивлялись многие тому, что показывают такую чепуху, говорят о ней по радио и пишут в газетах, если бы на эту самую чепуху не наслаивались другие не менее странные для воспитанного в советское время человека вещи.

Именно в этом году во время обычной подписной кампании, когда в осеннее время все начинают подписываться на периодические издания, неожиданно выяснилось, что согласно приказа министра связи СССР от 13 июля за номером триста шестьдесят ведомственная подписка на газеты и журналы на следующий год сокращается на тридцать процентов.

Что это означало? Тысячи публичных библиотек городских, областных, союзного подчинения, профсоюзных, различных научных заведений и производственных предприятий, начиная с Нового года, должны были получать меньше газет и журналов. Миллионы читателей, привыкшие приходить в читальный зал, как к себе домой, чтобы прочитать то или иное в любимой газете, вдруг лишатся такой возможности.

Что греха таить? – не каждый человек был в состоянии выписывать за свой счёт всю периодику, которую любил просматривать. Да и не всегда сохранишь выписанные номера, которые почему-либо могут понадобиться. А вот тут-то библиотеки и оказывались кстати. В их замечательной читательской тиши, где сама обстановка читального зала с неизменными склонёнными над книгой или журналом головами, с полупёпотом библиотекарей, осторожным шелестом переворачиваемых газет и длинными рядами настольных ламп, заставляла каждого посетителя ощущать себя в совершенно новом мире, оторванном от крикливости улиц, бестолковости бегов, от встрясок и передраг. В иной библиотеке можно было прочитать публикации десятилетней, а то и столетней давности в прекрасно сохранённом состоянии.

И вот ни с того ни с сего, привыкшие к такому удобству люди, придут и чего-то им теперь не станут давать. Но, как оказалось, не просто чего-то, а именно того, к чему большинство привыкло. Если в прежние времена библиотеки, исходя из запросов их постоянных посетителей, сами заказывали то, что нужно было на следующий год. То отныне отделения «Союзпе-

чати” начали сами определять, что давать библиотекам, а что нет. А в это “нет” попали весьма читаемые журналы: “Радио”, “Техника молодёжи”, “Наука и жизнь”, газеты: “Социалистическая индустрия”, “Труд”, “Экономическая газета”. И, что уж совсем казалось удивительным, в число оторванных от библиотек попали газеты “Правда”, “Известия” и журналы “Коммунист” и “Политическая агитация”.

Узнав о таких изменениях с союзной печатью, умный читатель отметил про себя: “Кому-то очень нужно, чтобы мы меньше читали и не думали над происходящими событиями”. И он был почти прав. Кому-то хотелось, чтобы мы меньше читали именно эти издания, но больше обращали внимания на такие как “Огонёк”, который с полутора миллионов в этом году увеличивает тираж до четырёх с половиной миллионов. И спорить с ним в этом росте будет лишь еженедельник “Аргументы и факты”. Именно эти два издания начали в то время борьбу за лучшего плеваку в советский строй. Они так успешно соревновались в вопросе, кто кого переплюнет, охаивая всё прошлое и настоящее страны, что читатель изумлённо вопрошал: “А куда это и кому стал светить наш некогда родной “Огонёк”? На социализм или от социализма? Понимает ли сама редакция, кому и как светит их журнал? Какой свет льёт он на перестройку? Зажигает ли он энтузиазм и патриотизм в душах людей? Помогает ли поднимать дух в людях, а вместе с ним и производительность труда?”

Вопросы были отнюдь не праздными. Большая часть людей, получив воспитание в советское время и в советском духе, то есть в духе любви Отечеству и преданности ему, недоумевали, почему сегодня стали позволять то, что ни в коем разе не разрешили бы вчера. Ну, гласность – понятно – говори, что думаешь, но не ври же. Демократия – хорошо – свобода действий, но не до такой же степени. Ведь слово “демократия” происходит от слова “демос”, что значит народ. А коли так, то демократия подразумевает власть народа, иными словами всё должно делаться во имя народа, но не отдельных личностей ради.

И никто на самом деле не собирается спорить с тем, что нельзя не учитывать мнения и интересы каждой личности. Да, необходимо. Но людей на земле миллиарды. Если у каждого будет своё собственное желание, да все желания направлены в разные стороны, то можно ли их все удовлетворить, не ущемляя интересы каждого? Скорее всего, нет, по крайней мере, в наше время. Но можно, воспитывая людей с детства в духе любви друг к другу, выработать у них общие желания. Тогда только, идя навстречу желаниям всех, будешь удовлетворять и желания каждого из них в отдельности и наоборот.

Такие мысли одолевали Настеньку, когда она приходила домой и бралась за прессу, которую в большом количестве выписывал на свою собственную пенсию дедушка. Читая регулярно “Огонёк”, он всё чаще начинал громко возмущаться той или иной статьёй, чуть не выходя из себя, так что бабушка, Татьяна Васильевна, говорила ему в сердцах, как всегда упирая на звук “а”:

– Чта ты за дурень, ей богу! Ну, не читай ты эту гадасть, раз не выдержишь. Пабереги сердце.

А Настенька удивлённо спрашивала:

– Дедуль, зачем же ты выписываешь “Огонёк”, если там пакости пишут?

Читай, что тебе больше нравится. А то выписываешь этот журнал, как и тысячи других людей, хотя он и не нравится. Но редакция журнала этого не знает и продолжает печатать ерунду. Спрос вызывает предложения.

– Нет, Настенька, – говорил дедушка, хватаясь правой рукой за бороду, словно в ней была вся его сила. – Врагов надо знать в лицо. Раньше я любил “Огонёк” за его рассказы о нашей жизни. А теперь читаю, чтобы знать, чем дышат вражьи головы. Правда, и сегодня в журнале много интересного, но теперь почти в каждом номере печатают какое-нибудь очередное воронье карканье. Конечно, много плохого было в нашей истории. Говорить о нём нужно, может быть, но важно как это делать. Так ли, что бы понять время и те условия новой жизни, при

которых трудно было не ошибаться? Так ли, чтобы не осуждать, а сожалеть о случившемся? Или рассказывать взахлёб о плохом лишь потому, что за плохое больше платят? Разносить вдребезги прошлое так, словно сегодняшние политические писаки сами поступали бы иначе, будь они там и в то время.

Дедушка откидывался на спинку кресла, оставлял в покое бороду и поднимал указательный палец, как бы грозя невидимому противнику, начинал повышать голос:

– Вон Хрущёв сам подписывал списки на расстрел политических противников. Нашлись все бумаги, но после его смерти. Так ведь он ставил свою подпись не потому, что Сталин его заставлял, а потому, что был убеждён в правоте дела. Был убеждён, как и все тогда, что с врагами революции надо поступать жёстко, иначе они снова обратят весь народ в рабство. Пусть ошибался в чём-то, но, как и все в те трудные революционные времена. Если же он думал иначе, но подписывал приговоры, то он же первый подлец был и тогда, когда на смерть отправлял других, и тогда, когда Сталина критиковал после его смерти. Если согласен был с оппозицией Сталина, почему не присоединился к ним? Почему, я спрашиваю? – уже совсем разгорячившись, кричал дед, стуча кулаком по подлокотнику кресла

Настенька бросалась к деду, обнимала его и пыталась успокоить, говоря нежным голосом:

– Дедуль, успокойся, я с тобой полностью согласна. Сегодня тоже все подпевают Горбачёву. Что они запоют, если его не будет? Ведь есть же такие, что не согласны с его болтовнёй.

Настенька была уверена в том, что такие люди есть. В музее, куда она ходила на работу с большим удовольствием, задержавшись после одной из экскурсий в зале, она открыла книгу посетителей и прочла несколько записей. Две из них, сделанные совсем недавно, поразили её откровенностью. Люди писали, будто высказывались, как на духу.

Одну оставила школьный преподаватель:

“Дорогой Павел! Прекрасный наш Павка Корчагин! Прекрасный наш Николай Алексеевич! Мы любим Вас... Душа Ваша в тревоге..., но не вешайте голову, не смотря ни на что. Мы боролись и погибали за Вас. Мы, довоенное поколение, Вас в обиду не дадим! Мы будем защищать Вас, пока живы. И неправда, что в нашей жизни Корчагины и Островские не нужны.

Я считаю Вас, Николай Алексеевич, своим учителем. Я училась у Вас мужеству, перенесла шестнадцать операций и борясь с паразитами.

От имени всех учителей русского языка и литературы

Капиталина Леонидовна Камышенцева”

Обращаясь к герою романа – Павлу Корчагину и его создателю – Николаю Островскому, учительница отождествляла их и потому обращение “Вам” писала с заглавной буквы, а не с прописной для множественного числа. Так что всё правильно в этом смысле. Так решила Настенька, заподозрив, было сначала грамматическую ошибку. Но, читая дальше, она уже не думала о грамматике. Текст брал за живое.

Никто же не просил писать. Или написала бы, как многие:

“Музей замечателен. Пусть живёт и развивается ещё не одно столетие. Такие мужественные люди, как Н. Островский, должны быть примером нам ещё не одно десятилетие и даже столетие.

Семья Мироновых, город Загорск”.

Но нет же, пишет: “Душа Ваша в тревоге... Не вешайте голову”, словно не она сама, сегодняшняя учительница, как тысячи других, в тревоге за будущее Отечества, а сам Николай Островский волнуется о том, что рушатся им воспетые идеалы.

И другая запись, оставленная, очевидно, таким же молодым человеком, как и Настенька, взволновала её:

“Редко удаётся так просто прийти в хороший музей и одному походить, посмотреть, подумать.

У меня сейчас далеко не всё в порядке. Сегодня я пришёл сюда впервые. Об Островском практически ничего до сегодняшнего дня не знал. Знал, конечно, как автора "Как закалялась сталь", из коротких, скупых строк биографии. А сегодня я увидел его квартиру, множество фотографий и документов... Музей оставил у меня глубокое, живое впечатление.

Я обязательно приду сюда ещё раз. Сразу после того важного барьера в своей жизни, который мне предстоит пройти в ближайшие две недели.

Рыченков С."

“Парень хочет преодолеть какой-то барьер, и ему поможет в этом Островский, – думала Настенька. – А поможет ли Николай Алексеевич со своим Павкой мне справиться с тем, что произошло? Если СПИД уже подступает ко мне, если уже завтра заболею, что тогда?”

Но времени на размышления было мало. Работы в музее для всех всегда хватало. Директор Галина Ивановна не оставляла никого в покое. И как бы в ответ на вопросы Настеньки в начале восьмидесят восьмого года задумали в музее организовать новую выставку "Корчагинские судьбы", на которой показать сегодняшних, искалеченных судьбой, но не сдавшихся, как и Павел Корчагин, людей, которые сумели преодолеть несчастье, встретившееся на их пути, и найти своё место в жизни, принося людям пользу. Одним из героев выставки должен был быть известный всей стране крымский писатель Николай Зотович Бирюков, судьба которого во многом перекликалась с судьбой самого Островского. Его тоже парализовало в юности, и он тоже написал книги, ставшие известными далеко за пределами его Родины.

Собрать материалы о нём, а заодно подготовить почву для выставки летом в пионерском лагере "Артек" и было поручено Настеньке, для чего её командировали на неделю в Ялту, где она никак не могла не встретиться с Володей в первый же день, идя по Набережной из гостиницы "Южная" в направлении к дому-музею Бирюкова. А Володя только что пообедал в кафе и шёл как раз в противоположном направлении к клубу моряков, где предстояло на днях выступить на конкурсе молодёжных эстрадных коллективов.

Не веря своим глазам, Володя ошолбенело остановился, глядя, как к нему, весело улыбаясь, направляется Настенька. Она-то знала, что может его встретить, потому была вполне готова к неожиданности и, как ни в чём не бывало, произнесла:

– Привет, Володя! Ты что здесь делаешь?

Такая постановка вопроса ошарашила парня, и он растерянно схватился почему-то за правое ухо, словно проверяя на месте ли оно, и тоже спросил:

– Я что делаю? Я живу здесь. А вот ты как сюда попала?

Но Настенька уже не отвечала. Она обняла Володю, прижалась лицом к плечу и заплакала. Храбриться сил больше не было. А он осторожно держал её в своих объятиях и всё так же растерянно повторял:

– Фантастика. Это фантастика.

А на другой день было воскресенье, и Володя потащил Настеньку в горы, по которым она ни разу в жизни не ходила, но о чём мечтала по её словам всю свою сознательную жизнь. Володе не хотелось вести девушку по знакомым тропинкам, где они легко могли встретиться с кем-то из многочисленных его друзей и знакомых. Нет, он не боялся их, не собирался скрывать от них свою подругу из Москвы, но ему очень хотелось побыть с нею подольше наедине, подольше подержать возле себя подарок судьбы, каким он считал для себя Настеньку. Хотя она сама с этим не могла никак согласиться. И только по этой причине он повёл свою радость не известными ему тропами, а большей частью напрямик, где удалось сразу же доказать преимущество опытного уже горного туриста перед таким прекрасным, но всё же новичком, каким оказалась Настенька.

Смехом-смехом да за разговорами так они и выбрались к скамейке лесника.

ЛЕСНАЯ ДРУЖБА

Николай Иванович возвратил удостоверение Володе, но не спешил заканчивать проверку и поинтересовался:

– А, извините, как фамилия спутницы? У вас есть документ? Прошу, конечно, прощения, но вы вошли в заповедник. Тут положено проверять каждого и о присутствии каждого знать. Мало ли что может случиться.

– Да что вы, конечно, – согласилась Настенька. – я из Москвы. Моя фамилия Болотина. Вот моё удостоверение сотрудника музея и командировочное.

Но лесник почему-то не стал брать документы, а переспросил:

– Как вы сказали ваша фамилия? Болотина? Интересно, я только что встретил такую же в газете. Вот смотрите, – и Николай Иванович, переместив планшет на колени, раскрыл его, вынул оттуда газету, оказавшуюся свежим номером "Социалистической Индустрии", развернул её и показал большую статью о выборах в Пакистане. Под статьёй стояла подпись Алексея Болотина.

Настенька глянула в газету и только изумилась:

– Ого какая!

– Это ваш муж? – спросил Николай Иванович.

– Нет, папа. Нигде от него не спрячешься.

– Вам неприятно?

– Что вы? Напротив, очень даже приятно, что он и в лесу, можно сказать, за тысячи вёрст рядом. Можно почитать?

– Да берите совсем. Я пока утреничал тут на скамейке всю газету изучил. Вам она теперь нужнее.

– Спасибо большое. Тогда я позже почитаю. Володя, дай я положу её в карман рюкзака.

Усатов повернулся спиной к Насе, подставив рюкзак, и пока она закладывала туда газету, поинтересовался:

– А вы, кажется, Дробот? Мы, по-моему, встречались в прошлом году на конференции по охране природы, а потом во время пожара в Уч-Коше. Ну, вы-то меня не запомнили. Нас много было на тушении.

– Да я Дробот. Зовут меня Николай Иванович.

– А я знаю. О вас вообще чуть ли не легенды ходят.

– Что же обо мне такое говорят? – усмехнулся Николай Иванович. – Лесник как лесник. Только и того, что долго работаю.

– Это так, – согласился Володя, сядя на скамейку по другую сторону от лесника, так что тот теперь очутился между молодыми людьми. – Но говорят, что вы, как никто умеете рассказывать легенды, что браконьеры вас боятся пуще огня и что есть у вас собака, которая недавно спасла вас, но как, я не знаю.

Лесник задумчиво снял с головы фуражку, потёр ладонью лысеющую голову, снова надел фуражку и собирался что-то сказать, но его прервала Настенька:

– Простите, Николай Иванович, у вас не бывает такого впечатления в лесу, что с вами кто-то рядом находится, а вы его не видите? Мне вот всё время кажется, что на меня кто-то смотрит. Я не боюсь, но такое ощущение. Может в горах всегда так? Откровенно говоря, мне не по себе от этого. Я-то в лесу часто бываю, но то в Подмосковье, то на Украине в деревне у бабушки, где тоже нет гор.

– А вы чувствительная девушка, – заметил лесник. – На вас действительно смотрят, но не пугайтесь. Я позову моего друга. – И он, слегка присвистнув, тихо скомандовал – Волк, ко мне!

Чуть впереди из-под широкой сосновой лапы молодой раскидистой крымской красавицы, опустившей свои ветви низко над Землей, неожиданно поднялся огромный чёрный ньюфаундленд и, подойдя к хозяину, сел на свой мохнатый хвост и уставился глазами в лицо человека, как бы спрашивая, зачем позвал.

Пёс был великолепен. Чёрная густая шерсть теперь отливала особым блеском на солнце, а только что под сосной, создавая видимость тени, была совершенно незаметна. Умные чёрные глаза, казалось, смотрели только на хозяина, но невозможно было поверить, что они не следят за каждым движением находящихся рядом людей. Мощные передние лапы собаки гиганта упирались в землю, и какое-то шестое чувство непонятным образом подсказывало, что стоит любому человеку поднять руку над хозяином, как она мгновенно будет схвачена широкими сильными челюстями преданного пса. Эксперименты проводить в таких случаях нежелательно.

– Я назвал его Волком, – проговорил Николай Иванович, – так что он в этом смысле единственный в наших лесах, так как настоящие волки с послевоенных лет в Крыму не появлялись. А жизнь он мне действительно прошлой осенью спас. Да и раньше, пожалуй, меня бы прибили без него браконьеры. У нас ведь оружия нет, а браконьер всегда не с ружьём, так с ножом ходит, да в компании с друзьями. Ну а я научил своего Волка всегда в стороне быть и идти за мной. Так что он возникает, когда я скоманую или если ему покажется ситуация опасной. Такое бывает иногда. Браконьер не видит Волка и начинает иногда хорохориться и угрожать мне, а тут вдруг рычание и этакая псина рядом. Фактор неожиданности играет большую роль – я успеваю сориентироваться и либо разоружаю сразу, либо включаю рацию и делаю вид, что мои помощники рядом. А то ведь могут застрелить и собаку и меня.

А где же ваша рация? – спросил Володя.

– У другого моего помощника. Вон там. – Лесник махнул рукой назад в глубь леса.

Настенька и Володя, как по команде, повернулись и только теперь заметили гнедого коня, ноги которого чуть выше копыт были словно одеты в белые носочки, а шелковистая грива буквально засветилась на солнце, когда тот резко качнул головой, отгоняя появившихся уже мух. К седлу была приторочена сумка, из которой торчала антенна рации.

– Ну а всё же можно узнать, как вас спасла собака? – Спросила Настенька.

– Случилось это так, – начал лесник. – В сущности, по моей невнимательности. Дело было во время урагана. Ехал я на своём Месяце, – так, оказывается, звали коня – а Волк, как всегда, за нами. Тут вижу, что осину сломало ветром, и она перекрыла ручей. Вода уже пошла другим путём и на дороге целое болото образовалось. Спешился я, значит, и стал дерево оттаскивать да не заметил, что чуть выше старую сосну видимо уже вывернуло из земли, и она еле держалась кроной за соседние, ну а очередным порывом ветра её и понесло на меня. Я как услышал треск сверху, назад откинулся, а меня и прижало к земле стволом. Тут два момента удачных было. Во-первых, я успел разогнуться и меня не треснуло по спине. Тогда бы мне точно крышка была. И то хорошо, что сучья сосны в землю упёрлись и меня не раздавило совсем. Но я упал спиной на землю, и руки оказались среди веток так, что я их никоим образом не мог освободить, чтобы с их помощью попытаться выползти. Ни перевернуться не могу, ни ногами оттолкнуться. Всё вроде целое, а вылезти не удаётся. Такая дурацкая ситуация получилась.

Будь я один, так впору бы и испугаться совсем. Не так часто люди ходят в наших краях. В конце осени грибников не богато. В плохую погоду тем более. Прокукуешь холодной ночью – не скоро оправившись, а то и совсем дуба дашь. Тем более что упал я рядом с ручьём. В жаркую погоду – это хорошо, а в холодную не очень. Журчит возле уха, но радость не доставляет. Скончался бы от жажды у самой воды, вот был бы цирк.

Но это будь я один. А тут ведь и конь есть и собака. Месяц мой, конечно, стоит себе на дороге. Что он сделать может? Да и не понял, наверное, в чём дело. Другое дело Волк. Тот сразу забегал вокруг упавшей сосны. Я, конечно, говорю ему:

– Волчок, сделай что-нибудь. – А сам думаю, что придётся, наверное, посылать его домой. Но захочет ли он оставить хозяина?

Только пока я думаю своё, а Волк мой сам соображает. Эта собака ой как умна. Чувствую – задышал мой пёс над ухом. Ухватил зубами за ворот куртки и потянул.

Должен вам сказать, ребята, не думал я, что до такой степени силен мой друг. Сам не поверил, когда поползло моё тело из-под проклятого ствола. Сантиметрами, сантиметрами, а поползло. Попал я, конечно, в ручей спиной, но уж теперь мог и сам помочь Волку, вытащив руки и отталкиваясь от ствола.

Вымogli мы с моим другом изрядно. Да и подняться мне потом, оказывается, было не очень просто. Так что без Месяца я, пожалуй, тогда до дома не добрался бы. Волк бы мог тащить по земле, но это для обоих было бы мучением. С конём, конечно, проще. Главное было забраться на него, когда всё тело ныло. Но что это по сравнению с усилиями Волка?

Между тем ньфаундленд, будто понимая, что речь идёт о нём, улёгся у ног хозяина, скромно положив голову на лапы.

– Добрейшая собака, между прочим, – заключил рассказ Николай Иванович. – Никого ещё ни разу не укусила, но страх нагоняет и, будьте уверены, не пропустит случай вступить за меня, если надо. Всё понимает.

– Да, собака у вас замечательная, восхищённо сказала Настенька и подошла к чёрной красавице, с опаской протягивая руку к голове, чтобы погладить.

Собака подняла морду и неожиданно лизнула ладонь девушки, словно давая понять, что бояться не надо. Настенька рассмеялась, отдернув, было руку, но тут же теперь совсем без страха повела рукой по мохнатой голове и шее добродушного великана.

ВЫСТРЕЛ

Солнце поднялось выше, и под его прямыми лучами становилось даже жарковато, но в лесной февральской тени прохлады давала себя знать и не позволяла долго засиживаться без движений. Володя сбросил рюкзак и стал надевать свитер, порекомендовав Настеньке следовать его примеру.

В этот момент в лесу прогремел выстрел. Собственно, сюда он донёсся откуда-то изда-лека, пролетев звуком, может, не один десяток километров, и, слабо хохотнув, отскочил эхом от мощных скал ущелья Уч-Кош.

Волк встрепенулся и сразу поднялся, отесняя своим могучим телом Настеньку, которая тоже обернулась в сторону, откуда, как показалось, прозвучал выстрел.

Николай Иванович со словами: "Это очень нехорошо. Кто-то там у нас балуется. Не иначе как на оленя" – вскочил и направился к коню, продолжая говорить на ходу:

– Ребята, я попрошу вас остаться здесь. Вон там, у шоссе шлагбаум. Перекройте, пожалуйста, на всякий случай и подежурьте. Если какая машина будет выезжать на шоссе, откройте, но не сразу. Посмотрите, кто или хотя бы номер транспорта запишите. А больше вы не имеете права ничего. Не нарывайтесь на неприятности, если браконьеры с добычей едут. Эти страшнее зверей. И все машины, что будут по шоссе идти, записывайте.

Лесник уже сидел в седле своего коня, доставая рацию и продолжая говорить:

Это, видимо, не очень далеко. Я попробую проскакать чуть ниже сначала, а потом поднимусь. Если это пешие, то не уйдут, но скорее всего, что на машине или мотоцикле. Тогда хуже, но попробую догнать и вызову кого-нибудь на помощь. Милиция задержит у Массандры. А, может, ничего и нет, тогда я скоро вернусь.

– Ну вот, с оттенком грусти в голосе проговорил Володя, надевая рюкзак на спину. – Попутешествовали. Теперь далеко не уйдём.

– Ничего-ничего, – успокаивала Настенька, – на большой переход я, может, сегодня не очень гожусь. Сам видел, сколько скользила на кручах. Хотя и не устала, но не против и тут посидеть, тем более что дело есть.

Настенька натягивала на голову свитер, а Володя уже шёл к дороге. Задача, как он полагал, была весьма простая и явно на самый, как говорится, пожарный случай. Во-первых, охотиться мог и охотник одиночка на какого-нибудь зайца. Конечно, охота в заповеднике вообще

строго запрещена, однако найти охотника одиночку отнюдь не просто. Разве что Волк Николая Ивановича унюхает издали. Тот действительно способен.

Во-вторых, если охотники на машине и подстрелили оленя, то уехать им не так и сложно, поскольку в лесу проложено много дорог для тушения пожара. Где бы ни поднимался, всё на какую-нибудь дорогу выйдешь. Этот факт хоть и был понятен, но раздражал Володю, так как в лесу он предпочитал ходить по местам, где мало что напоминает присутствие человека.

Но множество дорог имело и свою отрицательную сторону для браконьеров с транспортом. Звук мотора в горном лесу слышен очень хорошо на большом расстоянии. И лесник на своём коне, срезая путь по тропам, да когда о его приближении не знают, может вполне оказаться впереди машины.

Словом, гадай, не гадай, а просьбу со шлагбаумом нужно было выполнять. Дорога эта, отходящая от асфальтированного шоссе, возможно давно не перекрывалась, так как бревно не имело на конце противовеса и верёвки, а лежало себе в стороне от опор.

Володя с Настенькой не без труда подняли довольно тяжёлое дерево и, перегородив лесную дорогу, положили его на металлические стойки, которые, к счастью, здесь всё-таки были. Походив вокруг, они нашли и длинные куски брошенной некогда проволоки и прикрутили концы брёвен к стойкам, как пояснил Володя, в порядке юмора, поскольку самим же скоро придётся раскручивать – не оставлять же дорогу перекрытой на всё время.

Изрядно потрудившись таким образом, Володя предложил сесть в сторонке от обеих дорог на поваленное дерево, откуда, как из засады, легко было наблюдать за движением, оставаясь самым незамеченными.

– Володя, смотри какая прелесть! – воскликнула восторженно Настенька указывая на землю рядом с деревом, на которое они собирались сесть.

Из-под жёлтых, пожухлых за зиму листьев, к свету тянулись невысокие пока стебельки с жёлтыми и сиреневыми лепестками. Совсем рядом выкарабкивался, расталкивая листья ещё один стебелёк, но цветок раскрывал совершенно белые как снег лепестки.

– Это первоцвет. – Тонем знатока и преподавателя объяснил Володя. – Почти самый первый в нашем лесу.

– Что значит "почти самый первый"? – засмеялась Настенька. И тоже поучительным тоном преподавателя пояснила: – Нельзя сочетать слова "почти" и "самый первый". Либо он почти первый, то есть один из первых, либо самый первый, что означает единственный в своём роде. Ты извини меня, дружок, но я лингвист и люблю точность определений. Тебе, как учёному, непростительна вольность в определениях. Так какой же это цветок?

– Хорошо, Настюша, я виноват, – сокрушённо согласился Володя. – Кладёшь меня на самые лопатки. Это, конечно, не самый первый цветок, а один из первых в сезоне. Практически в лесу на ЮБК нет месяца без цветов. Ведь вот, например, любимый всеми и наверняка тобою галантус, а проще говоря, подснежник появляется даже в декабре, когда на земле ещё снег.

– А разве здесь бывает снег?

– О, ещё какой! В горах каждый год выпадает, и случаются весьма сильные снежные бураны. В это трудно поверить сейчас, когда даже в феврале так тепло, что мы с тобой свитера снимали. Но пару лет назад в районе горы Ай-Петри в снегу погибла школьница. Подумать только, на южном берегу Крыма замёрзнуть. А всё по глупости. Группа ребят в воскресенье решила сходить в горы. Погода в самой Ялте была солнечная. Никто не предполагал, что может что-то случиться. Но мать одной из девочек не хотела пускать дочь в поход и, чтобы остановить её, заперла тёплую одежду в шкаф. Девчонка же оказалась упрямой и пошла без пальто и прочих атрибутов. Ну, а когда ребята стали подниматься уже на Ай-Петринское плато, неожиданно повалил снег и подул сильный ветер. Начался ураган.

Это были взрослые дети из десятого класса, но всё же дети и без проводника. Они решили выйти на плато и добраться до метеостанции, чтобы оттуда позвонить в Ялту. Но ветер валил с

ног и мог запросто снести в пропасть. Группа разделилась. Несколько ребят направились всё же к метеостанции и добрались-таки, неожиданно наткнувшись на верёвки, которыми пользуются метеорологи для передвижения в сильный ветер. Леера совершенно не были видны издали. Однако позвонить в город им не удалось, поскольку телефон находился в другом домике через дорогу, которую в такой ураган никак невозможно было перейти. В том же домике за дорогой дежурила группа спасателей

В это время оставшаяся в лесу группа решила выкопать под скалами пещеру в снегу и там переждать метель. Решение, наверное, было правильным, если бы не тот факт, что девушка, которую не отпускала мать, была почти раздета и замерзала.

Один из мальчиков рискнул сам спуститься вниз в посёлок Кореиз. Смелый парень сумел добраться к людям и оттуда позвонил в Ялту. Тогда только из Ялты связались со спасателями на Ай-Петри и те немедленно направились на поиски. Снежную пещеру с почти уснувшими школьниками нашли к утру. И только одну плохо одетую девочку спасти так и не смогли.

– Какая грустная история. Никогда бы не подумала, что на юге могут происходить подобные трагедии.

Настенька задумчиво смотрела перед собой, представляя себе рассказанную картину.

– И что самое ужасное, – продолжала она, – это то, что мать словно предчувствовала несчастье, но при этом своими же руками допустила его. Позволь она девочке одеться и идти с друзьями, всё могло бы закончиться хорошо, но она боялась за дочь, и своим страхом помогла ей погибнуть. Странно всё же судьба распоряжается нами. Мне кажется, что сейчас вот я начинаю понимать одну вещь. Нельзя поддаваться страху. Это очень даже относится ко мне. Я испугалась в этой жизни всего. Испугалась СПИДа, которым заболела. Испугалась, что могу скоро умереть. Испугалась перемен, которые происходят в нашей стране. И этот страх заставил меня делать глупости, которые, как мне теперь кажется, сами по себе ещё страшней. Что-то важное я начала понимать, придя работать в музей.

Лес будто вздохнул от пролетевшего порыва ветра. Сосны закачали головами, медленно останавливаясь. Хвойный запах ещё сильнее проник в лёгкие. Этот аромат хотелось пить, такую радость он вливал внутрь. И то ли это ощущение счастья от пребывания в огромном мире сильных деревьев, где ты совершенно мал и ничтожен, то ли наоборот чувство единения с миром природы, в котором ты что-то можешь и должен делать, но окружающая обстановка пробудила в Настеньке откровения, которых она совершенно не собиралась раньше высказывать никому.

– Ты только подумай, Володечка, Николай Островский написал всего лишь один роман, который стал известен всему миру. Он писал и второй, но не успел закончить. Не будем говорить о художественных особенностях "Как закалялась сталь". Мы не на уроке литературы. Феномен не в языке писателя, а в том, что он писал книгу, лёжа неподвижным в постели и будучи практически совершенно слепым.

Представляешь, быть отключённым от жизни болезнями, но не сломаться от этого и не существовать, принося одни жалобы и страдания близким, а жить, самым настоящим образом влияя на жизни миллионов людей. Вот ведь что потрясает. Он не стал канючить на судьбу, не стал ненавидеть всех за то, что им хорошо, а ему плохо. Он решил использовать единственный шанс и продолжить свою жизнь в романах.

Я читала его письма, которые он и писал своей рукой, пока мог, и диктовал во время работы над вторым романом "Рождённые бурей". Они поразили меня тем, что слепой никуда не могущий выйти человек, которому, казалось бы, всё равно, что происходит в городе, пишет возмущённые письма по поводу того, что тот или иной руководитель оказался ненастоящим коммунистом, что партия терпит в своих рядах врагов, что кому-то из рабочих нужно дать квартиру, так как у него большая семья, и так далее. То есть он продолжал жить жизнью страны,

жизнью народа, тогда как многим здоровым и сильным людям в голову не приходило думать о ком-то, жить для кого-то.

И я, как ни больно сознавать, оказалась в числе этих прожигателей жизни. Я испугалась, что скоро умру, и пыталась мстить другим за то зло, которое мне причинили Вадим, его друг министерский работник и этот африканец. А я ведь жива ещё и, кажется, пока здорова. Могу успеть ещё что-то сделать в этой жизни, если её не бояться. Как ты думаешь, Володя?

Усатов обнял девушку за плечи и, притянув к себе, прижал её голову к груди, говоря несколько охрипшим голосом:

– Настюша, милая, ты даже не представляешь, как плохо у нас с тобой складываются дела. И причина не только в твоём СПИДе, о котором ты не можешь говорить уверенно, поскольку не ходила ни к одному врачу. Я не ответил на твоё письмо летом не потому, что согласился с тобой. Если бы не обстоятельства, я бы тогда сразу приехал к тебе вопреки твоей просьбе.

Мне хотелось ещё вчера, когда мы вечером встретились с тобой в ресторане, рассказать всё, но не решился за столом, а в номер ты меня не пустила. Теперь ты сама так откровенна, что и я не могу больше молчать о главном.

– У тебя есть жена?

– Нет, Настенька, гораздо хуже. До получения твоего письма мне пришлось сдавать кровь на анализ, и врачи определили у меня лейкоз. Иными словами, у меня, наверное, рак. Это, как ты понимаешь, ничем не лучше СПИДа.

При этих словах голова Настеньки вздрогнула на груди Володи, а тело сразу выпрямилось и огромные испуганные глаза с длинными ресницами уставились в круглое совсем не смеющееся лицо друга.

– Только я умоляю тебя, Настюша, не надо пугаться. Это не на сто процентов верно. И, кроме того, врачи говорят, что есть средства, которые могут исправить положение. Но главное не это, а то, о чём говорила ты. У меня тоже возник вопрос, успею ли я сделать что-то. Мой бывший шеф, Павел Яковлевич, к сожалению, не успел. Именно о нём я сразу и подумал, когда узнал о своей болезни.

– А что было с ним?

– Тут, Настюш, совсем другая история и тоже очень печальная. Расскажу по порядку. Познакомились мы с моим шефом Голодригой несколько необычно. Я еще, когда заканчивал сельхозинститут в Симферополе, подумывал об аспирантуре в Магарахе. Конечно, я мог попросить отца и проблем, думаю, не было бы. Но я хотел сам. Пришёл в отдел защиты растений поинтересоваться работой. Так повезло мне, что у них в тот момент отмечали в отделе чей-то день рождения. Я хотел извиниться и уйти, но увидел гитару и сказал, что могу в качестве подарка коллеге только спеть песню. Ты же знаешь, что в этом вопросе я не стесняюсь.

– Да в скромности тут тебя не обвинишь, но и поёшь ты прекрасно.

– Ну, они там тоже так решили тогда. Одна сотрудница тут же повела меня, как ни странно, в отдел издательства, где, как оказалось, работал их руководитель художественной самодеятельности. Его она и попросила помочь устроить меня, так как он, как у нас принято говорить, был вхож к директору, то есть мог войти без предварительного доклада секретаря, что далеко не каждому позволялось. С Женей мы стали большими друзьями и даже живём теперь на одной лестничной площадке в новом доме. Кстати, ты его завтра можешь увидеть на смотре, где я выступаю. Так вот он мне тогда после своей беседы с директором так сказал:

– Володя, я порекомендовал тебя, Павел Яковлевич ждёт, но предупреждаю, когда будешь говорить с ним, не делай упор на самодеятельность. Скажи, что тебя интересует наука главным образом, а самодеятельность, как отдых от работы.

Я, разумеется, так и сказал почти слово в слово. Поговорили мы тогда с Голодригой не долго, но он мне понравился сразу. Очень подтянутый, стройный человек, взгляд напряжён-

ный, словно ждёт от тебя чего-то. Говорит коротко и слушает внимательно, пытаюсь понять, не обманывает ли его собеседник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.